

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Хорхе Луис
Борхес

ЗОЛОТО ТИГРОВ
СОКРОВЕННАЯ РОЗА
ИСТОРИЯ НОЧИ

Полное собрание
поэтических текстов

«ИНОСТРАНКА»

Хорхе Луис Борхес
Золото тигров. Сокровенная
роза. История ночи. Полное
собрание поэтических текстов
Серия «Иностранная
литература. Большие книги»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69206782

*Золото тигров. Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов: Иностранка, Азбука-Аттикус; Москва; 2023
ISBN 978-5-389-23076-7*

Аннотация

Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Всемирная известность пришла к нему после публикации художественной прозы, удивительных рассказов, стирающих грань между вымыслом и правдой, историей и воображением, литературным текстом и окружающей нас вселенной. Однако язык для Борхеса был «способом упорядочивать загадочное изобилие мира», и неудивительно, что именно поэзия, по его мнению, должна была справляться с этой задачей лучше всего. Как писал автор, «всякая поэзия – загадка; и никто не знает

наверняка, что ему уготовано написать». Хотя что он называл поэзией, а что – прозой? В случае великого Борхеса эта грань очень размыта.

Настоящее уникальное издание – первое в России полное собрание «поэтических» произведений Хорхе Луиса Борхеса, составленное автором на склоне лет. В него вошли тринадцать сборников, первый из которых был опубликован Борхесом в двадцать четыре года за свой счет тиражом 300 экземпляров («Жар Буэнос-Айреса»), а последний – за год до смерти («Порука»).

Многие тексты публикуются на русском языке впервые.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Содержание

Посвящение	11
Предисловие	13
Жар Буэнос-Айреса	15
Предисловие	15
К читателю	17
Реколета	18
Юг	20
Незнакомая улица	21
Площадь Сан-Мартина	23
Труко	25
Дворик	26
Надгробная надпись	27
Роза	28
Обретенный квартал	29
Пустая комната	30
Росас	31
Конец года	33
Мясная лавка	34
Предмесье	35
Стыд перед умершим	36
Сад	37
Надгробная надпись на чьей-то могиле	38
Возвращение	39

Afterglow[3]	40
Рассвет	41
Бенарес	43
Утрата	45
Простота	46
Долгая прогулка	47
Иванова ночь	49
Окрестности	50
Субботы	51
Трофей	53
Вечерние сумерки	54
Поля в вечерних сумерках	55
Прощание	56
Из написанного и потерянного году в двадцать втором	57
Примечания[4]	59
Луна напротив	61
Предисловие	61
Улица, где розовый магазин	63
Горизонту предместья	65
Прощание	66
Предчувствие любящего	67
Генерал Кирога катит на смерть в карете	68
Превосходство невозмутимости	70
Монтевидео	71
Листок, найденный в книге Джозефа Конрада	72

День плавания	73
Дакар	74
Обещание в открытом море	75
Почти страшный суд	76
Вся моя жизнь	77
Последнее солнце в Вилла-Ортусар	78
Стихи четырнадцатого	79
Сан-Мартинская тетрадка	81
Предисловие	81
Легендарное основание Буэнос-Айреса	83
Элегия о квартале Портонес[6]	85
Дорогой воспоминаний	88
Исидоро асеведо	90
Ночь перед погребеньем у нас на юге	93
Смерти Буэнос-Айреса	95
Франсиско Лопесу Мерино	100
Северный квартал	102
Пасео-де-Хулио	104
Создатель	106
Леопольдо Лугонесу	106
О дарах	108
Песочные часы	110
Шахматы	113
Зеркала	115
Эльвира де Альвеар	118
Сусана Сока	120

Луна	121
Дождь	126
К портрету капитана из войск Кромвеля	127
Старинному поэту	128
Другой тигр	129
Blind Pew[9]	132
Напоминание о тени тысяча восемьсот девяностых годов	133
Напоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса (1833–1874)	134
In memoriam A. R.[10]	135
Борхесы	138
Луису де Камоэнсу	139
Девятьсот двадцатые	140
Ода, написанная в 1960 году	141
Ариост и арабы	143
К началу занятий англосаксонским языком	148
Лк. 23	150
Адрогe	152
Искусство поэзии	155
Музей	157
Четверостишие	157
Пределы	157
Поэт говорит о своей известности	158
Великодушный враг	158
Le regret d'Héraclite[13]	159

Послесловие	160
Иной и прежний	161
Предисловие	161
Бессонница	165
Two english poems[16]	168
В кругу ночи	171
Об аде и рае	173
Воображаемые стихи	175
О четвертой стихии	177
Малому поэту из греческой антологии	179
Страница памяти полковника Суареса, победителя при Хунине	181
Мф. 25: 30	183
Компас	185
Ключ в салонах	186
Поэт XIII века	187
Солдат капитана Урбины	188
Пределы	189
Бальтасар Грасиан	191
Сакс (449 г.)	193
Конец ознакомительного фрагмента.	194

Хорхе Луис Борхес

Золото тигров.

Сокровенная роза. История ночи. Полное собрание поэтических текстов

Jorge Luis Borges

POESÍA COMPLETA

Copyright © 1995, María Kodama

© А. В. Андреев, перевод, 2023

© В. Н. Андреев, перевод, примечания, 2004, 2023

© Вс. Е. Багно, перевод, 2004

© М. Р. Бортковская, перевод, 2004

© Б. В. Дубин (наследник), перевод, примечания, 2023

© Б. В. Ковалев, перевод, примечания, 2023

© К. С. Корконосенко, перевод, примечания, 2023

© Б. В. Ковалев, К. С. Корконосенко, перевод, 2023

© В. П. Литус (наследник), перевод, 2023

© А. Ю. Миролюбова, перевод, 2023

© В. Н. Михайлов (наследник), перевод, 2023

© Е. А. Михалина, перевод, 2023

© М. Н. Петров, перевод, 2004

© М. А. Толстая, перевод, 2023

© А. А. Черносвитов, перевод, 2023

© Ю. А. Шашков, перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

Посвящение

Леонор Асеведо де Борхес

Хочу сделать признание – о личном и всеобщем, ибо то, что случается с одним человеком, случается со всеми. Я говорю о чем-то далеком и потерянном, о своих именинах, причем самых давних. Я получал подарки и думал, что я просто-напросто мальчишка и ничего, совершенно ничего не сделал, чтобы их заслужить. Разумеется, я никогда об этом не говорил: детям свойственна застенчивость. И с тех пор ты даровала мне так много: вещей, лет, воспоминаний. Отец, Нора, бабушки и дедушки, твоя память, а в ней память о наших предках (дворы, рабы, водовоз, атака перуанских гусар, позор Росаса), мужественно перенесенное тобой тюремное заключение, когда мы, мужчины, хранили молчание, рассветы в Пасо-дель-Молино, Женеве и Остине, пережитые нами темные и светлые времена, твоя бодрая старость, любовь к Диккенсу, Эса ди Кейрошу и, наконец, ты сама, матушка.

Здесь мы говорим между собой, *et tout le reste est littérature*¹, как литературно выразился блистательный Верлен.

Х. Л. Б.

¹ Все прочее – литература (*фр.*).

*Я не расположен быть поэтом. Разве что
разносторонним литератором: тем, кто говорит,
а не поет... Прости это маленькое выступление
в свою защиту; но мне бы не хотелось предстать
перед судом людей, сведущих в поэзии, и пусть
думают, что я не вижу разницы.*

***Роберт Льюис Стивенсон. Письма. II, 77
(Лондон, 1899)***

Предисловие

Это предисловие могло бы называться «Эстетикой Беркли» – и не потому, что ее исповедовал этот ирландский метафизик, один из милейших людей, которых знало человечество, а потому, что здесь к словесности применяется тот же аргумент, что Беркли применял и к реальности. Вкус яблока, утверждает Беркли, содержится во взаимодействии плода с нёбом, а не в плоде как таковом; точно так же, на мой взгляд, поэзия состоит в общении стихотворения с читателем, а не в наборе символов, отпечатанных на страницах книги. Самое важное – это эстетический факт, thrill², физические изменения, которые вызывает чтение. Возможно, это не новая мысль, но в моем возрасте истина важнее любых новинок.

Литературное волшебство осуществляется за счет искусственных приемов; в конечном итоге читатель их узнаёт и начинает ими тяготиться – отсюда постоянная потребность в изменениях, которые могут восстановить прошлое или предвосхитить будущее.

В этом томе я собрал все свои поэтические тексты, за исключением некоторых упражнений, отсутствие которых никто не оплачет и не заметит и которые (как сказал арабист Эдвард Уильям Лейн о некоторых сказках «Тысячи и одной

² Волнение, дрожь (англ.).

ночи») нельзя исправить, не исказив. Я сгладил некоторые шероховатости, избытки как испанского, так и креольского характера, но в целом я предпочел смириться с однообразными и монотонными Борхесами 1923, 1925, 1929, 1960, 1964, 1969, а равно 1976 и 1977 годов. В это собрание также входит краткое приложение, или музей апокрифической поэзии.

Как и всякий молодой поэт, я когда-то считал, что свободный стих проще традиционного; теперь же мне известно, что он намного труднее и требует глубокой убежденности, которую можно отыскать на некоторых страницах Карла Сэндберга или его отца, Уолта Уитмена.

У книги стихов может быть три судьбы: ее предадут забвению; от нее не останется ни строчки, но она очертит общий контур автора; наконец, несколько стихотворений из книги могут переключаться в разные антологии.

Если бы моему сборнику выпал третий случай, то я бы хотел остаться в «Воображаемых стихах», в стихотворении «О дарах», в «Everness», «Големе» и «Пределах». Но всякая поэзия – загадка; и никто не знает наверняка, что ему уготовано написать. Печальная мифология нашего времени без конца твердит о подсознании или, что еще хуже, о бессознательном; греки призывали музу, иудеи – Святой Дух; в сущности, это одно и то же.

Х. Л. Б.

Жар Буэнос-Айреса (1923)

Предисловие

Я не переписывал эту книгу. Я приглушил барочные чрезмерности, ограничил число шероховатостей, вымарал сентиментальности и неясные места, и в ходе этой работы, порой приятной, а порой тягостной, я почувствовал, что паренек, писавший это в 1923 году, по существу (что вообще значит «по существу»?) уже являлся тем сеньором, который теперь либо смиряется, либо исправляет. Мы – один человек; мы оба не верим в успех и поражение, в литературные школы и в их догмы; мы оба – поклонники Шопенгауэра, Стивенсона и Уитмена. Я вижу, что «Жар Буэнос-Айреса» уже предвосхищает все, что будет потом. За то, что приоткрывал этот сборник, за то, что он каким-то образом обещал, его великодушно одобрили Энрике Диес-Канедо и Альфонсо Рейес.

В 1923 году юноши были робки, как и теперь, в 1969-м. Опасаясь внутренней пустоты, они так же пытались прикрыть ее невинным новомодным грохотом. Я, например, ставил перед собой сразу несколько задач: подражать некрасивостям Мигеля де Унамуно (они мне нравились), быть

испанским писателем семнадцатого века, быть Маседонио Фернандесом, открыть метафоры, уже открытые Лугонесом, и воспеть Буэнос-Айрес низких домов и усадеб с решетками (такие были на западе и в районе Сур).

В те времена мне были любезны вечера, предместья и невзгоды; теперь мне любезны рассветы, центр и спокойствие.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 18 августа 1969 г.

К читателю

Если страницы этой книги содержат какое-нибудь удачное стихотворение, я заранее прошу у читателя прощения за то, что нахально присвоил его себе. Наши ничтожности мало чем различаются: случайно и несущественно то обстоятельство, что ты – читатель этих упражнений, а я – их автор.

Х. Л. Б.

Реколета

Убеждены: все – суета сует,
среди залежей благородного праха.
Но тянем свой век, понижаем до шепота голос
в толще плавных рядов пантеонов,
чьи мягкие тени и мрамор
даруют надежду или предвосхищают
достойную встречу со смертью.
Как восхитительны склепы!
Строгость латыни на плитах,
соединение мрамора и цветов,
своды прохладны, словно внутренний дворик,
давнее прошлое, навечно – вчера,
здесь остановилось, слилось в единую точку.
Обманчив покой единенья со смертью,
мы обманулись и жаждем конечного мига,
жаждем грез и покойного равнодушья.
В легкой дрожи страстей, чести и шпаги,
в спящем плюще —
повсюду теплится жизнь.
Пространство и время – ее порожденья,
магический инструмент бытия и души.
Искра души едва лишь погаснет,
вместе погаснут, исчезнут пространство и время.
Точно так же погасшим лучом
отменяется отблеск вечерний,

отображение и существование зеркал.
Тихие тени деревьев,
ветерка дуновенье среди птиц и ветвей,
душа, растворившаяся в тысячах прочих,
дивное чудо, однажды ставшее жизнью,
необъяснимое чудо,
но это чудо, призрачное повторенье,
очернено горьким ужасом сегодняшних дней.
Вот о чем размышляю я в Реколете,
там, где хранятся мои пепел и траур.

Юг

Стоять в одном из твоих патио и видеть
древние звезды,
сидя на скамье
в тени, смотреть
на рассеянные огни,
которым так и не смог в своем неведении
ни имя дать, ни сложить из них созвездия,
чувствовать кружение воды
в колодце потайном,
аромат жимолости и жасмина,
молчание уснувшей птицы,
круглый свод, влажную прохладу, —
это и есть стихи.

Незнакомая улица

Тень голубиная —
так вечера начало евреи называли,
когда шаги легки и сумрак не мешает
увидеть, как приходит ночь,
что музыкой, старинной и знакомой,
звучит и опускается на землю.
В час этот, когда свет
прозрачно тонок,
я вышел к улице, которую не знал.
Она открылась предо мной широко,
мягкий свет струился по кровлям и стенам,
такой же, как и тот, что в небе
отражался, в глубине.
Все в этой улице — дома, ограды
палисадников, звонки, что у дверей,
и, может быть, мечты той девочки с балкона, —
наполнило мне сердце
чистою слезой.
Казалось, этот вечер тихий
заполнил улицу нежнейшим серебром,
что зазвучало вдруг, как позабытый,
но всплывший в памяти хорал.
Потом подумалось,
что улица в тот вечер была как бы чужой
и что дома на ней — подсвечники,

где жизнь людская – как свеча,
которая горит и угасает,
и каждый шаг наш —
шаг на пути к Голгофе.

Площадь Сан-Мартина

Маседонио Фернандесу

Искал я вечер,
но напрасно спешил по улицам.
Уже в порталах притаилась немая тень.
И, отливая блеском матовым,
как омут, вечер застыл на площади,
спокойный, чистый,
благодатный. Как лампа, светлый.
Как лоб открытый, ясный.
Печальный, как человек, что в трауре стоит.
Волненья улеглись
под сенью всепрощающих деревьев:
акаций, хакаранд —
их очертаний силуэт
смягчил мне памятника жесткий профиль,
в густой листве их замерцал,
перемешался чудесный свет,
от неба — голубой, а от земли — червлёный.
Как хорошо: смотреть на вечер,
покойно сидя на скамье!
Внизу
вдыхает порт, о дальних плаваньях мечтая,
а площадь уравнила всё и вся
и приоткрылась вдруг, как смерть, как сон.

Труко

Колода перекраивала жизнь.
Цветные талисманы из картона
стирали повседневную судьбу,
и новый улыбающийся мир
преображал похищенное время
в безвредные проделки
домашних мифов.
В границах столика
текла иная жизнь.
Лежала незнакомая страна
с горячкой ставок, риском понтировки,
всевластьем меченосного туза —
всесильного Хуана Мануэля
и кладезем надежд — семеркой черв.
Неспешный мате
умерял слова,
перипетии партий
повторялись —
и вот уж нынешние игроки
копируют забытые сраженья,
и воскрешаются за ходом ход
роды давным-давно истлевших предков,
все те же строки и все те же штуки
столице завещавших навсегда.

Дворик

Вечеру
гасит краски дворик утомленный.
Понапрасну полная луна
прежней страсти ждет от небосклона.
Дворик, каменное русло
синевы,
сбегающей по кровлям.
Вечность, безмятежна и светла,
на распутье звездном замерла.
Краткий праздник дружбы потаенной
с чашею, беседкой и колонной.

Надгробная надпись

Полковнику Исидоро Суаресу, моему прадеду

Пронес отвагу через Кордильеры.
Не уступил ни кряжам, ни врагу.
Его рука не знала колебаний.
Вошел в Хунин с победой, закалив
испанской кровью пики перуанцев.
Подвел итог пережитому в прозе,
сухой, как боевой сигнал рожка.
Скончался в ссылке. От него осталось
немного: лишь слава и зола.

Роза

Худит Мачадо

Та роза,
которая вне тленья и стиха —
всего лишь аромат и тяжесть, роза
чернеющих садов, глухих ночей,
любого сада на любом закате,
та, воскресающая волшебством
алхимика из теплой горстки пепла,
та роза персов или Ариосто,
единая вовеки,
вовеки роза роз,
тот юный платонический цветок —
слепая, алая и для стиха
недосягаемая роза.

Обретенный квартал

Никому не была ведома улиц красота,
покуда в жутком вопле
зеленоватое небо не рухнуло
в изнеможение, пролилось водою и мраком.
Силы стихий объединились,
мир наполнился ненавистью и отвращением.
Но когда радуга благословила
вечернее небо
и сады напитались
ароматами влажной земли,
мы вновь пустились в свой путь по улицам,
будто по вновь обретенным поместьям.
В каждом оконном стекле билось великое солнце,
в каждой искре дрожащей листвы
пело бессмертие лета.

Пустая комната

Красное дерево
в смутном мерцанье шпалер
длит и длит вечеринку.
Дагеротипы
манят мнимой близостью лет,
задержавшихся в зеркале,
а подходишь – мутятся,
как ненужные даты
из памяти стершихся празднеств.
Сколько лет нас зовут
их тоскующие голоса,
едва различимы теперь
ранним утром далекого детства.
Свет наставшего дня
будит оконные стекла
круговертью и гамом столицы,
все тесня и глуша слабеющий отзвук
былого.

Росас

В тиши гостиной,
где cedят время строгие часы,
уже не горяча и не тревожа
крахмальную опрятность покрывал,
чуть охладивших алый пыл каобы,
укором друга кто-то уронил
зловещее и родственное имя.
И лег на время
профиль палача,
не мрамором сияя на закате,
а навалившись мраком,
как будто тень далекого хребта,
и бесконечным эхом потянулись
улики и догадки
за беглым звуком, брошенным мельком.
Своею низостью вознесено,
то имя было разореньем дома,
безумным обожаньем пастушья
и страхом стали, холодящей горло.
Забвение стирает долг умерших,
оплаченный натурою смертей;
они питают Время,
его неутомимое бессмертье,
чей тайный суд за родом губит род
и в чьей до срока отворенной ране —

последний Бог в последнее мгновенье
ее закроет! — вся людская кровь.

Не знаю, был ли Росас

слепым клинком, как верили в семье;

я думаю, он был как ты и я —

одним из многих,

крутясь в тупой вседневной суете

и взнуздывая карой и порывом

безверье тысяч.

Теперь неизмеримые моря

простерты между родиной и прахом.

И жизнь любого, сколь бы ни жалка,

торит свой путь в ничтожестве и мраке.

И Бог его уже почти забыл,

и это милость, а не поношение —

отсрочка бесконечного распада

минутным подаянием вражды.

Конец года

Не символическая
смена цифр,
не жалкий троп,
связующий два мига,
не завершение оборота звезд
взрывают тривиальность этой ночи
и заставляют ждать
тех роковых двенадцати ударов.
Причина здесь иная:
всеобщая и смутная догадка
о тайне Времени,
смятение перед чудом —
наперекор превратностям судьбы
и вопреки тому, что мы лишь капли
неверной Гераклитовой реки,
в нас остается нечто
незыблемое.

Мясная лавка

Гнуснее, чем публичный дом,
мясная лавка – осквернение улиц.
Сверху, с несущей балки,
коровья слепая голова
ведет шабаш
искромсанного мяса и мраморных разделочных столов
величаво, с отстраненностью идола.

Предместье

Гильермо де Торре

Предместье – точный слепок, отпечаток нашей скуки.
Мой шаг сбивается, хромаю,
когда плетусь навстречу горизонту,
оказываюсь меж домов,
четырехугольных ячеек,
в кварталах разных, одинаково безликих,
словно они, кварталы, —
тупое, монотонное воспроизведение
единого квартала, одно и то же.
Выгул, неухоженный газон,
безудержно теряющий надежды,
зияет пятнами камней, домов и улиц,
я различаю в бездонных далях
раскрашенный картон игральные карты заката,
и в этот миг я ощущаю, чувствую Буэнос-Айрес.
Город этот, я знаю, я уверен твердо, —
мое и прошлое, и будущее, и, более всего, мое сегодня;
годы, что провел я на чужбине, в Европе, – иллюзия,
я есмь и только здесь, и буду здесь: в Буэнос-Айресе.

Стыд перед умершим

Свободен от надежд и сожалений,
абстракция, неуловимость, нечто
безвестное, как завтра, каждый мертвый —
не просто мертвый, это смерть сама.
Бог мистиков, лишенный предикатов,
умерший не причастен ни к чему,
сама утрата и опустошенность.
Мы забираем всё,
последний цвет и звук:
вот двор, который взглядом не обнимет,
вот угол, где надежду ожидал.
И даже эти мысли,
наверное, не наши, а его.
Как воры, мы на месте поделили
бесценный скarb его ночей и дней.

Сад

Пропасти,
суровые горы,
дюны,
пересеченные от края до края тропами,
лигами, метрами песка и ненастий,
что рождаются в сердце пустыни.
На склоне раскинулся сад.
Крона каждого дерева – джунгли, кипень листвы.
Деревья строят осаду
на склонах стерильно пустых холмов,
торопят пришествие сумрачной ночи
в море безбрежное листвы безучастной.
Весь этот сад – луч тишины и покоя,
что освещает и место, и вечер.
Маленький сад – словно крохотный праздник
среди убогой бедности нашей земли.

Нефтяные месторождения, Чубут, 1922

Надгробная надпись на чьей-то могиле

Надгробный мрамор хранит молчаливый покой,
без лишних слов, не нарушая всесилья забвенья,
молчит немногословно

об имени, мыслях, событиях и отчизне.

Вынесен приговор, осужден этот бисер на мрак и
молчанье,

потому мрамор не в силах поведать то, о чем молчат
люди.

Самое главное в жизни, пришедшей к финалу, —
страстная дрожь и надежда,

жестокое чудо: чувствовать боль; и удивление
наслажденья —

все это не исчезает, вечно длится, без перерыва.

Слепо, настойчиво требует продолженья душа

в преддверии жизни иной,

в час, когда ты — всего лишь беглый отблеск и парафраз
тех, кто не от мира сего, не отсюда, и тех,

кто станет и кто ныне уже — бессмертье твое на земле.

Возвращение

Сегодня, после многих лет разлуки,
вернувшись в дом, где я когда-то рос,
я чувствую, что всё кругом – чужое.

Я прикасался к выросшим деревьям
так, словно гладил спящее лицо,
и проходил по старым тропкам сада,
как будто вспоминал забытый стих,
а под закатным полноводьем видел,
как хрупкий серпик молодой луны
укрылся под разлатую листвою
темневшей пальмы,
как птенец в гнезде.

Как много синевы
вберет в колодец этот смутный дворик,
и сколько негибаемых закатов
падет в том отдаленном тупике,
и молодую хрупкую луну
еще не раз укроет нежность сада,
пока меня своим признает дом
и, как бывало, станет незаметным!

Afterglow³

Потрясающе
в грубой убогости,
потрясающе
безнадежным прощальным бликом,
покрывающим ржой равнины и доли,
когда краешек солнца скрывается за горизонтом.
Острый и тонкий, луч больно ранит
и заполняет пространство беглой галлюцинацией,
наваждением,
вселяя страх темноты,
вмиг обрывается,
как только осознаем призрачность.
Так же рвется сон,
когда понимаем, что спим.

³ Вечерняя заря (англ.).

Рассвет

В бездне вселенской ночи
только маяк противоборствует
буре и заблудившимся шквалам,
только маяк на покой посягает улиц притихших,
словно предчувствие, дрожащее в нетерпении,
предчувствие скорой, ужасной зари, которая
наступает на опустевшие окраины мира.
Скованный властью тени и мрака,
напуган угрозой: скоро зажжется рассвет;
судорожно оживляю ужасное
предположение Шопенгауэра и Беркли,
будто наш мир —
игра воображения и сознания,
сновидение душ,
без всякой основы, без цели и смысла.
И поскольку идеи
не вечны, как мрамор,
но бессмертны, как реки и лес,
предшествующая доктрина
приняла другую форму в рассвете,
в суевериях этого часа,
когда луч, подобно плющу,
вырвет стены домов из объятий мрака,
укрошая мой разум,
расчистит путь новой фантазии:

если вещи не содержат субстанций
и многолюдье Буэнос-Айреса —
лишь игра воображения, сон,
который вздымает в одновременном движении души,
есть единственный миг,
когда бытие судорожно рискует собой,
миг, сотрясаемый новой зарей,
в час, когда лишь единицы грезят сим миром,
и лишь полуночники помнят его и хранят,
призрачный, едва различимый
набросок, сеть улиц,
которые после откроют, опишут другие.
Час, когда жизнь отдается упрямому сну,
приходит угроза гибели, исчезновенья;
час, когда очень легко может Господь
уничтожить свое же творенье!

Но вновь мир спасен.

Свет снова приходит и оживляет уснувшую серую краску,
меня упрекает
в соучастии воскрешения мира,
укрывает заботливо дом,
мой дом, изумленный и застывший в белом, ярком луче,
птичий голос рвет мою тишину,
ночь отступает, сползает изорванной тряпкой
и лишь остается в глазницах слепцов.

Бенарес

Игрушечный, тесный,
как сдвоенный зеркалом сад,
воображаемый город,
ни разу не виденный въяве,
ткет расстоянья
и множит дома, до которых не дотянуться.
Внезапное солнце
врывается, путаясь в тьме
храмов, тюрем, помоек, дворов,
лезет на стены,
искрится в священной реке.
Стиснутый город,
расплющивший опаль созвездий,
перехлестывает горизонт,
и на заре, полной
снами и эхом шагов,
свет расправляется паветвью улиц.
Разом светает
в тысячах окон, обращенных к Востоку,
и стон муэдзина
с вознесшейся башни
печалит рассветную свежесть,
возвещая столице несчетных божеств
одинокчество истого Бога.
(Только подумать:

пока я тасую туманные образы,
мой воспеваемый город живет
на своем предназначенном месте,
со своей планировкой,
перенаселенной, как сон, —
лазареты, казармы
и медленные тополя,
и люди с прогнившими ртами
и смертной ломотой в зубах.)

Утрата

И вот я должен всю громаду мира,
в котором ты, как в зеркале, стоишь,
за камнем камень наново отстроить.
С твоим уходом
столькое кругом
никчемным обернулось пустяком
и отпылавшим фейерверком тлеет —
где прежние душистые аллеи?
Закаты, обрамлявшие тебя,
и музыку, где ты — во всякой ноте,
и те слова
мне предстоит разбить
своими же руками,
застывшими от боли.
Пустое небо об ушедшей стонет
всей пустотою.
В каком колодце душу утопить,
чтобы и там не стерегла утрата,
как солнце, что с зенита не сойдет,
пытая люто и неумолимо?
Она одна вокруг
и стягивается петлей на горле.

Простота

Гайде Ланхе

Садовая калитка
откроется сама,
как сонник на зачитанной странице.
И незачем опять
задерживаться взглядом на предметах,
что памятны до мелочи любой.
Ты искушен в привычках и сердцах
и в красноречье недомолвок, тонких,
как паутинка общности людской.
А тут не нужно слов
и мнимых прав:
всем, кто вокруг, ты издавна известен,
понятны и ущерб твой, и печаль.
И это – наш предел:
такими, верно, и предстанем небу —
не победители и не кумиры,
а попросту сочтенные за часть
Реальности, которая бесспорна,
за камень и листву.

Долгая прогулка

Ароматная, словно пьянящий мате,
ночь скрадывает расстояние между домами в деревне,
расчищает улицы,
что сопутствуют мне в одиночестве,
наполняя меня безотчетным страхом и прямыми
отрезками линий.

Легкий бриз доносит с полей сочный запах,
сладость дачных домов и рощ тополиных,
что трепещут под хищным напором асфальта,
сохраняя землю живую.

Земли сдавлены улицами и домами.

Тщетно кошачья ночь силится
охранить покой закрытых балконов.

Вечером здесь показалась
скрытая девичья страсть и надежда.

Полный покой, тишина в преддверье жилищ.

В изгибах теней

лется время. Время обширно и благородно,
скрыто в полночных часах,

поток полноводен,

в нем находится место всем мечтам, и желаньям, и
грезам,

час чистых душ и устремлений,

нет места жадному пересчету:

дневная повинность.

Я – единственный улицы созерцатель;
быть может, не будь меня здесь, она бы исчезла.
(Наткнулся на шершавую стену, остатки,
поросшие остием, чертополохом,
в свете желтого фонаря,
тусклый и нерешительный луч.
Видел летящие звезды.)
Величественная, живая,
словно Ангел, сошедший с небес,
крыльями день укрывает,
ночь опустилась, скрыла серость домов.

Иванова ночь

Сверкающий закат неумолимо
рассек пространство лезвием меча.
Ночь, словно ивовая поросль, нежна.
Взвиваются повсюду
искрящиеся огненные вихри;
священный хворост
от всполохов высоких кровоточит,
живое знамя, выдумка слепая.
Но дышит миром тьма, подобно дали;
сегодня улицам вернулась память:
когда-то они были чистым полем.
А одиночество, молясь, перебирает
рассыпанные звезды своих четок.

Окрестности

Дворы, их стойкая осанка,
дворы скрепляют
небеса и землю.
Сквозь перекрестия зарешеченных
окон проходит улица
легко, как свет лампы.
Просторные альковы,
где рдеет тихим пламенем каоба,
где зеркала неясный отблеск
подобен омуту и заводям тенистым.
Темны и тихи перекрестки,
от них бегут дороги в бесконечность
по немым, глухим предместьям.
Поведал о местах,
где мы всегда вдвоем,
нас двое: одиночество и я.

Субботы

С. Г.

Там, снаружи, – закат, темная драгоценность
в оправе времен.

Бездна города, ослепшего
от людей, которые тебя никогда не видели.

Вечер молчит или песни поет.

Кто-то вытягивает страсть,
распятую на клавишах пианино.

Прелесть твоя – множество проявлений.

* * *

Назло твоей неприязни
твоя красота
тратит свой дар посекундно.

Прелесть, удача твоя скрыты в тебе,
словно весна в первом листке.

Я почти уже потерял себя,
я – только страсть,
что теряется вечером этим.
Скрыта нежность в тебе,

как до срока в мечтах скрыта боль.

* * *

Упала ночь тяжелым бременем.
Друг друга, как слепцы, искали
в притихшем зале наши одиночества.
Тот вечер пересилила
твоя блистающая плоть.
В нашей любви есть грех,
вина, похожая на душу.

* * *

Ты,
кто вчера была подлинной красотою,
стала любовью, подлинною, сегодня.

Трофей

Идущий берегом моря
очарован его величием,
обласкан и награжден светом и ширью,
так же и я, было даровано
наслаждаться твоей красотой.
В сумерках мы распрощались,
степенно пришло одиночество,
на улицах темных, которые помнят тебя,
счастье потускнело, подумал:
как было бы славно, если
воспоминания, сменяя друг друга,
без остановки, следовали бесконечно,
радуя душу.

Вечерние сумерки

На западе вечерняя заря
восторгом напитала улицы,
открыла двери, словно страсти сон,
случайной встрече.
Светлые леса
теряют последних птиц и золото.
Разодранные руки нищего
подчеркивают грусть поры вечерней.

А тишина, что меж зеркал живет,
тает, покидает узилище свое.
Мрак – чернеющая кровь
израненных вещей.
В неровном свете
изуродованный вечер
сочился серым цветом.

Поля в вечерних сумерках

Вечерняя заря, Архангелу подобно,
дорогу истерзала.
Как душный сон, населено одиночество,
стоячим прудом пролегло у деревни.
Колокольчики в поле звоном собирают
крошки печали, что рассеяны вечером.
Новолуние – слабый голос небес.
Лишь стемнело,
поле вновь оживает.

Западный шрам затянулся,
вечер его донимает.
Прячутся искры оттенков
в сумрачных безднах предметов.
В опустевшей и замершей спальне
ночь распахнет зеркала.

Прощание

Теперь между тобой и мной преграда
трехсот ночей – трехсот заклятых стен —
и глуби заколдованного моря.

Не содрогнувшись, время извлечет
глубокие занозы этих улиц,
оставив только шрамы.
(Лелеемая мука вечеров,
и ночи долгожданных встреч с тобою,
и бездыханная земля, и небо,
низвергнутое в лужи,
как падший ангел...
И жизнь твоя, подаренная мне,
и запустенье этого квартала,
пригретого косым лучом любви...)
И, окончательный, как изваянье,
на землю тенью ляжет твой уход.

Из написанного и потерянного году в двадцать втором

Безмолвные сраженья вечеров
у городских окраин,
извечно древние следы разгрома
на горизонте,
руины зорь, дошедшие до нас
из глубины пустынного пространства,
как будто бы из глубины времен,
сад, черный в дождь, и фолиант со сфинксом,
который не решаешься раскрыть
и видишь в еженощных сновиденьях,
распад и отзвук – наш земной удел,
свет месяца и мрамор постамента,
деревья – высота и неизменность,
невозмутимые как божества,
подруга-ночь и долгожданный вечер,
Уитмен – звук, в котором целый мир,
неустрасимый королевский меч
в глубинах молчаливого потока,
роды арабов, саксов и испанцев,
случайно завершившиеся мной, —
всё это я или, быть может, это
лишь тайный ключ, неугасимый шифр
того, что не дано узнать вовеки?

Примечания⁴

Незнакомая улица

Информация в первых строках неверна. Де Куинси (Writings⁵, том 3, с. 293) отмечает, что в иудейской традиции утренний полумрак называется «голубиный сумрак», а вечерний – «вороний сумрак».

Труко

На этой странице сомнительной ценности впервые проглядывает идея, которая всегда меня волновала. Самое полное ее изложение – в эссе «Новое опровержение времени» («Новые расследования», 1952). Ошибка, обнаруженная еще Парменидом и Зеноном Элейским, таится в утверждении, что время состоит из отдельных мгновений, которые возможно разъединять так же, как и пространство, состоящее из точек.

⁴ Составляя настоящее собрание поэтических сборников, Борхес снабдил некоторые стихотворения позднейшими примечаниями. – *Примеч. перев.*

⁵ «Сочинения» (англ.).

Росас

Сочиняя это стихотворение, я, конечно, знал, что один из дедов моих дедов был предком Росаса. Ничего потрясающего в этом нет, если учесть малую численность нашего населения и почти кровосмесительный характер нашей истории.

В 1922 году я предчувствовал ревизионизм. Это развлечение состоит в «ревизии» нашей истории не для того, чтобы докопаться до истины, но чтобы прийти к заранее установленному выводу: к оправданию Росаса, к оправданию любого существующего диктатора. Я, как видите, до сих пор остаюсь дикарем-унитарием.

Луна напротив (1925)

Предисловие

В 1905 году Герман Бар заявил: «Единственная обязанность – быть современным». Двадцать с лишним лет спустя я тоже взвалил на себя эту совершенно излишнюю обязанность. Быть современным – значит быть актуальным, жить в настоящем, а это общий для всех удел. Никто – за исключением одного смельчака, придуманного Уэллсом, – не овладел искусством жить в прошлом или в будущем. Всякое произведение есть порождение своего времени: даже точнейший в деталях исторический роман «Саламбо», главными героями которого являются наемники времен Пунических войн, – типичный французский роман XIX в. Мы ничего не знаем о литературе Карфагена, – вполне возможно, она была чрезвычайно богатой, – кроме того, что в ней не было книги, подобной роману Флобера.

Помимо этого, я захотел стать аргентинцем – забыв, что уже им являюсь. Я отважился приобрести несколько словарей аргентинизмов, из которых почерпнул ряд слов, которые сегодня едва ли могу расшифровать: «madrejón»,

«espadaña», «estaca pampa»...

Город из «Жара Буэнос-Айреса» – камерный, глубоко личный, здесь же он предстает пышным и многолюдным. Я не хочу быть несправедливым к этому сборнику. Одни стихи («Генерал Кирога катит на смерть в карете»), быть может, обладают всей броской красотой переводных картинок; другие же («Листок, найденный в книге Джозефа Конрада»), по моему мнению, не посрамят своего автора. Я не чувствую себя причастным к этим стихам; меня не интересуют их огрехи и достоинства.

Я немного изменил эту книгу. И теперь она уже не моя.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 25 августа 1969 г.

Улица, где розовый магазин

Ночь вглядывается в каждый проулок,
будто великая сушь, вожделяющая дождя.

Уже все дороги так близко,
даже дороги магии.

Ветром приносит оторопевший рассвет.

На рассвете страшат неминуемые поступки, рассвет
сминает.

Ночь напролет я бродил.

И застал непокой рассвета

меня на случайно попавшейся улице,
откуда вновь незыблема пампа

на горизонте,

где пустоши за проволочной оградой развоплощаются в
сорняках,

и где магазин, такой светлый,

как прошлым вечером новорожденный месяц.

Знакомое воспоминание: угол

с высокими цоколями и обещанием патио.

Чудесно быть свидетелем тебя, привычной, раз дни мои
созерцали так мало вещей!

Луч уже вонзается в воздух.

Годы мои прошли земными дорогами и морскими
путями,

но только с тобой я впритык, с твоим покоем и розовым
светом.

Не твои ли стены зачали зарю,
магазин, светлый, на сколе ночи.
Думаю так, и глаголю среди домов,
исповедуюсь в моей нищете:
я не глядел на реки, моря и горы,
но свет Буэнос-Айреса прикипел ко мне.
И я выковываю стихи о жизни и смерти
из луча этой улицы,
широкой, истерзанной:
только ее мелодии учит меня бытие.

Горизонту предместья

Пампа:

Я различаю твои просторы в глубине предместий,
я истекаю кровью твоих закатов.

Пампа:

Я слышу тебя в задумчивом звоне гитар,
и в высоких птицах, и в усталом шуме
пастушеских телег, что приезжают с лета.

Пампа:

Мне достаточно границ моего двора,
чтобы чувствовать тебя своей.

Пампа:

Я знаю, тебя терзают
борозды, переулки и разрушительный ветер.
Поруганная страдальца, ты уже – сушца на небесах.
Не знаю, в тебе ли смерть. Я знаю, что ты в моем сердце.

Прощание

Вечер, размывший наше прощание.

Вечер стальной, и сладостный, и монструозный, как темный ангел.

Вечер, когда наши губы жили в обнаженной близости поцелуев.

Неодолимой волной захлестнуло время нас в уже бесполезном объятии.

Вместе мы расточали страсть, не ради нас, но во славу уже подступающего одиночества.

Свет нас отверг, срочно явилась ночь.

Мы к решетке прошли под тяжестью тени, уже облегченной утреннею звездой.

Как уходят с потерянных пастбищ, я вернулся из наших объятий.

Как покидают страну клинков, я вернулся из твоих слез.

Вечер длится живой, как сон,
среди других вечеров.

Потом я обрел и миновал
ночи и дни долгого плаванья.

Предчувствие любящего

Ни близость лица, безоблачного, как праздник,
ни прикосновение тела, полудетского и колдовского,
ни ход твоих дней, воплощенных в слова и безмолвье, —
ничто не сравнится со счастьем

баюкать твой сон

в моих неусыпных объятьях.

Безгрешная вновь чудотворной безгрешностью спящих,
светла и покойна, как радость, которую память лелеет,
ты подаришь мне часть своей жизни, куда и сама не
ступала.

И, выброшен в этот покой,
огляжу заповедный твой берег
и тебя как впервые увижу — такой,
какой видишься разве что Богу:
развевшей мнимое время,
уже — вне любви, вне меня.

Генерал Кирога катит на смерть в карете

Изъеденное жаждой нагое суходолье,
оледенелый месяц, зазубренный на сколе,
и ребрами каменьев бугрящееся поле.

Вихляется и стонет помпезная карета,
чудовищные дроги вздымаются горою.
Четыре воронье со смертной, белой метой
везут четверку трусов и одного героя.

С форейторами рядом гарцует негр по кромке.
Катить на смерть в карете – ну что за гонор глупый!
Придумал же Кирога, чтобы за ним в потемки
шесть-семь безглавых торсов плелись эскортом трупа.

– И этим кордовашкам владеть душой моею? —
мелькает у Кироги. – Шуты и горлопаны!
Я пригнан к этой жизни, я вбит в нее прочнее,
чем коновязи пампы забиты в землю пампы.

За столько лет ни пулям не дался я, ни пикам.
«Кирога!» – эти звуки железо в дрожь бросали.
И мне расстаться с жизнью на этом взгорье диком?
Как может сгинуть ветер? Как могут сгинуть сабли?

Но у Барранка-Яко не знали милосердия,
когда ножи вгоняли февральским ясным полднем.
Подкрался риоханец на всех одною смертью
и роковым ударом о Росасе напомнил.

И рослый, мертвый, вечный, уже потусторонний,
покинул мир Факундо, чтобы гореть в геенне,
где рваные солдаты и призрачные кони
сомкнулись верным строем при виде грозной тени.

Превосходство невозмутимости

Слепящие буквы бомбят темноту, как диковинные метеоры.

Гигантский неведомый город торжествует над полем.

Уверясь в жизни и смерти, присматриваюсь к честолюбцам и пробую их понять.

Их день – это алчность брошенного аркана.

Их ночь – это дрема бешеной стали, готовой тотчас ударить.

Они толкуют о братстве.

Мое братство в том, что мы голоса одной на всех нищеты.

Они толкуют о родине.

Моя родина – это сердцебиенье гитары, портреты, старая сабля

и простая молитва вечернего ивняка.

Годы меня коротают.

Тихий как тень, прохожу сквозь давку неутолимой спеси.

Их единицы, стяжавших завтрашний день.

А мне имя – некий и всякий.

Их строки – ходатайство о восхищенье прочих.

А я молю, чтоб строка не была в разладе со мной.

Молю не о вечных красотах – о верности духу, и только.

О строке, подтвержденной дорогами и сиротством.

Сытый досужими клятвами, иду по обочине жизни
неспешно, как путник издалека, не надеющийся дойти.

Монтевидео

Вечер душе, как уставшему – путь под уклон.
Ночь осенила крылом твои плоские крыши.
Ты – наш прежний Буэнос-Айрес, который все дальше с годами.
Твои камни пушатся нежностью, как травой.
Близкий и праздничный, словно звезда в заливе,
потайными дверцами улиц ты уводишь в былое.
Светоч, несущий утро, над тусклой гладью залива,
зори благословляют тебя перед тем, как зажечь мои окна.
Город звучный, как строка.
Улицы уютные, как дворик.

Листок, найденный в книге Джозефа Конрада

Там, где простор искрится, бессменным летом брезжа,
день исчезает, мрея и растворяясь в блеске.
День вас находит щелкой в соломе занавески,
равнинною горячкой и жаром побережья.

И только ночь бездонна и чашей, полной теми,
стоит, открыв дороги, манящие в безвестье,
где люди в томных лодках взирают на созвездья
и огоньком сигары отмеривают время.

Узор в далеком небе душистым дымом скраден.
Окрестность безымянна, прошедшее стирая.
Мир – это лишь скопление размытых, нежных пятен.
Любой поток здесь – райский, и всякий – житель рая.

День плавания

Море – несоразмерный клинок и полнота нищеты.

Вспышка переводима в гнев, родник – во время, а подземные воды – в приятие очевидного.

Море – одинокий слепец.

Море – древний язык, не разгаданный мной.

В его глубинах заря – простая стена, беленая, глинобитная.

С его границ дымным облаком поднимается ясный день.

Непроницаемо, как резной камень,

море способно выстоять перед многими днями.

Каждый вечер – пристань.

Взгляд, исхлестанный морем, уходит в небо:

в последнее нежное побережье, синюю глину вечеров.

Сладкая близость заката над хмурым морем!

Облака будто ярмарочные огни.

Новый месяц зацепился за мачту.

Этот самый месяц мы оставили под каменной аркой, а теперь его свет веселится в ивах.

Мы с сестрой на палубе преломляем вечер, как хлеб.

Дакар

Дакар – на перекрестке солнца, пустыни и моря.

Солнце скрывает от нас небосвод, песок подстерегает нас на пути, море – само злопамятство.

Я видел вождя племени в одеянии, лазурь которого жарче полыхавшего неба.

Мечеть – рядом с историком – сверкает чистым огнем молитвы.

Полдень отодвигает хижины, солнце, словно воришка, карабкается по стенам.

У Африки – собственная судьба в вечности: подвиги, идолы, царства, непроходимые джунгли, мечи.

Я смог добраться – до сумерек и до селенья.

Обещание в открытом море

Родина, я не обрел твоей близости, но у меня твои звезды.
Глубь мироздания их изрекла, а теперь в благодати теряются мачты.

Звезды слетели с высоких карнизов, как стая испуганных голубей.

Звезды поднялись из патио, где водоем – звонница, перевернутая меж двух небес.

Звезды взвились из растущего сада, чей беспокойный шелест темными водами подступает к подножью стены.

Явились из захолустных закатов, гладких, как заросший сорной травой пустырь.

Звезды бессмертны, звезды неистовы, в вечности с ними не сравниться ни одному народу.

Перед стойкостью звездных лучей людьми населенные ночи свернутся, как палые листья.

Звезды – край невиданной ясности, и как-то случилось, что моя родная земля в их стихии.

Почти страшный суд

Мое празднество по улицам вольготно живет в ночи.
Ночь – долгий и одинокий праздник.

В глубине души чувствую, что я прав, и горжусь собой.
Я свидетель мира, я исповедуюсь в необычности мира.
Я пел о вечном: о яркой строптивой луне, о ланитах,
лакомых для любви.

Я чествовал стихами город, меня сжимающий стенами,
и предместья, живущие на разрыв.

Меня изумляет то, что других заземляет.

Перед песней несмелых поджигаю голос закатом.

Предков по крови и предков по грезам прославляю и
воспеваю.

Я был, я есмь.

Твердыми словами скрепляю чувство,
готовое расточиться в нежности.

Память о давней подлости возвращается к сердцу,
как мертвая лошадь с прибоем к берегу, возвращается к
сердцу.

Но на моей стороне улицы и луна.

Глоток воды улаживает небо, и строка не отказывается
петь.

Красота устрашает: кто посмеет меня осудить,
если я заслужил прощение одинокого полнолуния?

Вся моя жизнь

И опять – незабытые губы, единственные и те же!

Я был упорен в погоне за радостью и бедой.

Пересек океан.

Видел много дорог, знал одну женщину, двух или трех мужчин.

Любил одну девушку – гордую, светловолосую, испанского ровного нрава.

Видел бескрайний пригород с ненасытным бессмертьем закатов.

Перепробовал множество слов.

И верю, что это – всё, и навряд ли увидится или случится что-то другое.

Верю, что все мои дни и ночи

не беднее и не богаче Господних и каждого из живущих.

Последнее солнце в Вилла-Ортусар

Вечер как перед Страшным судом.
Улица как разверстая рана небес.
Не знаю, что там пылает в глубине – ангел или закат.
Бескрайность нависает надо мной с навязчивостью кошмара.
Горизонт сдавлен проволоочной изгородью.
Мир как будто выброшен за ненадобностью.
На небе день, но в канавах коварно притаилась ночь.
Свет остался лишь в голубых стенах и девчачьих играх.
Не знаю, кто выглядывает из-за ржавой решетки – дерево или бог.
Сколько миров предо мной: поле, небо, предместье.
Здесь я обогатился улицами, острым закатом и застывшим вечером.
Позже, далеко отсюда, я вернусь к своей нищете.

Стихи четырнадцатого

В город, где патио, будто кувшины, круглы и покаты,
а улицы простирают мили в полете,
в город с углами в ореоле заката
и предместьями из синего небосвода,

в город, как пампа, простой и просторный,
я вернулся из ветхих заброшенных стран
воспевать домов его свет непритворный
и полуночный свет негасимых реклам.

У пределов любви, во всеобщем объятье,
на закат напоролся и кровью истек,
как всегда, одинокий, воспел в его патио
золотящейся пампы клочок.

Воспел водокачки, и шарабаны,
и парадиз расколовшую брешь в ограде,
и нож, вонзенный тишком и неожиданно,
и ночь с ароматом терпкого мате.
Слова «берег» вызнал значение:
земли и вод потворствуя блажи,
предместьям сулит он чреду приключений,
а праздным пустошам – славу пляжей.

Все это воспев, наверно, верну

хоть пару монет в Господню казну.

Сан-Мартинская тетрадка (1929)

Что касается так называемых стихов по случаю, то едва ли найдется человек, располагающий свободным временем для чтения и чуткий к музыке собственной души, у которого за всю жизнь не выдалось бы — с позволения небес — десять-двенадцать случаев написать стихи. Нет ничего дурного в том, чтобы этими случаями воспользоваться.

Э. Фитцджеральд.

Из переписки с Барнардом Бартоном (1842)

Предисловие

Я много говорил — пожалуй, даже слишком много, — о поэзии как о мгновенном даре Духа, о мысли как о деятельности разума; в Верлене я видел чистый образец лирического поэта, в Эмерсоне — поэта-интеллектуала. Теперь я полагаю, что во всех поэтах, заслуживающих того, чтобы их перечитывали, сосуществуют обе эти ипостаси. К какому типу отнести Шекспира или Данте?

Что касается стихов из этого сборника, то, очевидно, их следует отнести ко второму типу. Должен сделать несколько

пояснений. Несмотря на негодование критиков, которые не прощают поэту исправлений, я пишу теперь не «Мифологическое основание Буэнос-Айреса», а «Легендарное основание», потому что первое определение ассоциируется с массивными мраморными божествами. Кроме того, эта формулировка является ложной и по своей сути. Эдинбург, Йорк или Сантьяго-де-Компостела могут играть в игры с вечностью, но не Буэнос-Айрес, выросший на наших глазах из пустырей и немощеных переулков.

Диптих «Смерти Буэнос-Айреса» – названием я обязан Эдуардо Гутьерресу – непростительно преувеличивает плебейский характер Чакариты и патрицианский флер Реколеты. Думаю, высокий стиль «Исидоро Асеведо» заставил бы моего дедушку улыбнуться. Не считая «Простоты», «Ночь перед погребеньем у нас на Юге», пожалуй, является первым стихотворением, в котором слышен мой собственный голос.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 1969

Легендарное основание Буэнос-Айреса

И сквозь вязкую дрему гнедого болота
основатели края на шхунах приплыли?
Пробивались к земле через цвель камалота
размалеванных лодок топорные кили.

Но представим, что всё по-другому: допустим,
воды сини, как если бы в реку спустился
небосвод со звездой, догоравшей над устьем,
когда ели индейцы, а Диас постился.

А верней – было несколько сот изможденных,
что, пучину в пять лун шириною осилив,
вспоминали о девах морских, о тритонах
и утесах, которые компас бесили.

Понастроили шатких лачуг у потока
и уснули – на Риачуэло, по слухам.
До сих пор теми баснями кормится Бока.
Присмотрелись в Палермо и к тем развалюхам —

к тем лачужным кварталам, жилью урагана,
гнездам солнца и ливня, которых немало
оставалось и в наших районах: Серрано,

Парагвай, Гурручага или Гватемала.

Свет в лавчонке рубашкою карточной розов.
В задних комнатах – покер. Угрюмо и броско
вырос кум из потемок – немая угроза,
цвет предместья, всеильный король перекрестка.

Объявилась шарманка. Разболтанный валик
с хабанерой и гринго занял над равниной.
«Иригойена!» – стены коралей взывали.
Саборидо тиранили на пианино.

Веял розой табачный ларек в запустенье.
Прожитое, опять на закате вставая,
одежало мужчин своей призрачной тенью.
И с одной панелью была мостовая.

И не верю я сказке, что в некие годы
создан город мой – вечный, как ветры и воды.

Элегия о квартале Портонес⁶

Франсиско Луису Бернадесу

*Усадьба Альвеар: между улицами Никарагуа,
Ручей Мальдонадо, Каннинг и Ривера. Множество
незастроенных пустырей, следы упадка.
Мануэль Бильбао. Буэнос-Айрес (1902)*

Это слова тоски
о колоннах ворот, ложившихся тенью
на немощеную площадь.
Это слова тоски
в память о длинном косом луче
над вечерними пустырями.
(Здешнего неба даже под сводом аркад
было на целое счастье,
а на пологих крышах часами лежал закат.)
Это слова тоски
о Палермо глазами бродячих воспоминаний,
поглощенном забвением, смертью в миниатюре.

Девушки в сопровожденье вальсирующей шарманки
или обветренных скотогонов
с бесцеремонным рожком 64-го года

⁶ Portones – ворота (исп.).

возле ворот, наполнявших радостью ожидания.
Смоковницы вдоль прогалин,
небезопасные берега Мальдонадо —
в засуху полного глиной, а не водою —
и кривые тропинки с высверками ножа,
и окраина с посвистом стали.

Сколько здесь было счастья,
счастья, томившего наши детские души:
дворик с зацветшей куртиной
и куманек, вразвалку шагающий по-пастушьи,

старый Палермо милонг,
зажигающих кровь мужчинам,
колоды креольских карт, спасенья от яви,
и вечных рассветов, предвестий твоей кончины.

В здешних прогалах, где небо пускало корни,
даже и дни тянулись
дольше, чем на камнях центральных улиц.
Утром ползли повозки
Сенеками из предместья,
а на углах забегаловки ожидали
ангела с дивной вестью.
Нас разделяет сегодня не больше лиги,
и поводырь вспоминающему не нужен.
Мой одинокий свист невзначай приснится
утром твоим уснувшим.

В кроне смоковницы над стеною,

как на душе, яснее.

Розы твоих кафе долговечней небесных красок

и облаков нежнее.

Дорогой воспоминаний

Мои воспоминания о домашнем саде:
благословенная жизнь растений,
жизнь учтивая, – тайной покрыта,
взлелеяна она людьми.

Пальма самая высокая под здешним небом,
птичий домик воробьев;
виноградная лоза с черным виноградом,
летние деньки дремали в ее тени.

Крашенная мельница:
трудолюбиво на ветру эпох старинных колесо,
гордость дома нашего, ведь у других
текла река под чашечками черпаков.

Подвал по кругу в основании дома —
у сада голова шла кругом,
и страшно было заглянуть сквозь щелку
в подземелье, полное воды искусной.

Сад, перед решеткой завершали путь свой
терпеливые извозчики,
и грубый карнавал ошеломлял
оркестром шумным бродячих музыкантов.

Амбар, укрыватель преступлений,
занимал он угол сада;
но у тебя тростник был, чтобы править копья,
и воробы, чтобы прочесть молитву.

Сон твоих деревьев по ночам
со сном моим всегда сливался,
и опустошение сороки
заразило древним страхом кровь мою.

Твои редкие ветки у основания
для нас становились географией;
холм был «земляной горою»
и смелость — его откосом.

Сад, я прочту свою молитву,
чтобы никогда не забывать:
воля или случай тень отбросить —
были твоими деревьями.

Исидоро асеведо

По правде говоря, не знаю я всего о нем —
разве что набор названий, мест и дат:
обманы слова, —

но с дрожащим почитанием я отвоевал его последний
день,
не тот, что видели другие, а собственный его,
хочу отвлечься от своего предназначенья, чтобы об этом
написать.

Верный говору портеньо за игрой в труко,
альсинист, рожденный на лучшей стороне Арройо-дель-
Медио,
комиссар на старом рынке в Онсе,
комиссар третьего района,
он ринулся в сраженья, лишь Буэнос-Айрес захотел того,
в Сепеде, и в Павоне, и на берегу Корралеса.

Но голос мой принимать его сраженья не обязан,
потому что их унес мой дед в невесомость сновиденья.
Потому что то, о чем другие создают стихи,
он отправил в сновиденье.

Когда легочный отек подтачивал его
и жар терзал его лицо,
он собрал свидетельства живые памяти своей,
чтобы измыслить этот сон.

Случилось это в доме на улице Серрано,
в девятьсот пятом, знойным летом.
Во сне его два войска
сошлись в тени сраженья;
он перечел отряды все, знамена и подразделения.
«Командиры в данный миг ведут переговоры», —
сказал он громко, надеясь, что его услышат,
и приподняться захотел, чтобы увидеть их.

Он провел осмотр в пампе:
увидел он пересеченку, на ней пехота смогла бы
продержаться,
и плоскую равнину, на ней атака конницы была
неотразима.
Провел он смотр последний,
собрал он сотни лиц, которых, не ведая о том, знает
человек на исходе своих лет:
бородатых лиц, что будут таять на дагеротипах,
лиц, что были рядом с ним на мосту Альсина и в Сепеде.

Он грубо вторгся в прошлое свое,
чтобы свершить бесплотный подвиг, на который
обрекала его вера, но не слабость;
собрал он армию теней портеньо,
чтобы они его убили.

Вот так в спальне с окнами в сад
за родину погиб он в сновиденье.

Для меня в старинную метафору обернули его смерть;
я не поверил.

Я слишком юным был, не знал тогда о смерти, был
бессмертным;

и долго я искал его, бродя по комнатам без света.

Ночь перед погребеньем у нас на юге

Летисии Альварес де Толедо

По случаю смерти —

мы повторяем никчемное имя тайны, не постигая сути, —

где-то на Юге всю ночь стоит отворенный дом,

позабытый дом, которого мне не увидеть,

а он меня ждет всю ночь

со свечами, горящими в час, когда люди спят,

спавший с лица от недугов, сам на себя непохожий,

почти нереальный с виду.

На бденье у гроба, давящее бременем смерти,

я направляюсь проулком, незамутненным, как память,

неисчерпаемой ночью,

где из живых остались

разве что тени мужчин у погасшего кабачка

да чей-то свист, единственный в целом свете.

Медленно, узнавая свой долгожданный мир,

я нахожу квартал и дом и нехитрые двери,

где с надлежащей степенностью встретят гостя

одногодки моих стариков,

и наши судьбы сольются в этом углу, выходящем во дворик —

дворик под единовластьем ночи, —

где мы говорим, заглушая явь, пустые слова,
а в зеркале – наши печальные аргентинские лица,
и общий мате мерит за часом час.

Я думаю о паутине привычек,
рвущихся с каждой кончиной:

обиходе книг, одного – изо всех – ключа, одного – среди
многих – тела...

Знаю: любая, самая темная связь – из высокого рода
чудес,

и одно из них в том, что все мы – на этой сходке,
бдении над неведомым – нашим мертвым,
оберегая его в первую смертную ночь.

(Бденье стирает лица,
и глаза угасают, как Иисус в простенке.)

А он, наш невероятный мертвый?

Он – под цветами, отдельными от него,
с гостеприимством ушедшего оставляя
память на годы вперед,

душеспасительные проулки, и время свыкнуться с ними,
и холодок на повернутом к ветру лице,
и эту ночь свободы от самого тяжелого груза –
надоедливой яви.

Смерти Буэнос-Айреса

I

ЧАКАРИТА

Поскольку чрево кладбища Сур
было переполнено из-за желтой лихорадки;
поскольку бездонные трущобы Сура
посеяли смерть по всему Буэнос-Айресу
и поскольку Буэнос-Айрес больше не мог видеть эту
смерть,
тебя раскопали
где-то в глухомани Эль-Оесте
за оврагами,
за тяжелой древней грязью,
в которой вязнут лошади.
Там не было ничего, кроме мира
и бесчисленных звезд над полями,
и поезд покидал Бермехо,
забыв о смерти:
о мертвых мужчинах с выпавшей бородой и
незрячими глазами,

о мертвых женщинах без души и очарования.

Происки смерти – грязной, как рождение человека, —
непрестанно пополняют твои недра, так ты и заселяешь
свои конвентилью душ, подпольную грудку костей,
которые падают на дно твоей погребенной ночи,
словно в морскую пучину,
к смерти без бессмертия и чести.

Жесткая трава, растущая из неприкаянных останков,
врезается в твои бесконечные стены,
смысл которых – погибель,
а пригород, убежденный в неизбежности смерти,
несет кипящий поток жизни к твоим ногам
по улицам, обожженным грязью,
и наполняется громким звоном утомленных бандонеонов
или бляньем глупых карнавальных рожков.
(Вечная ошибка судьбы,
моей судьбы – я услышал ее этой ночью, твоей ночью,
когда местный паренек играл на гитаре,
и гитара говорила то же, что и слова:
«И смерть – это жизнь минувшая,
а жизнь – это смерти ход,
ведь жизнь – это смерть нарядная,
что в ярком свете идет».)

Кладбищенская обезьяна, Ла-Кема
дразнит смерть у твоих ног.

Мы изнашиваем и заражаем реальность: 210 телег

омрачают позором утро, когда везут в этот полный дыма
некрополь

повседневные вещи, отравленные смертью.

Несусветные деревянные купола и кресты – черные
фигуры

последней шахматной партии – ходят по твоим аллеям,
и их убогий лоск оттеняет
позорные лики наших смертей.

В твоих строгих границах
смерть бесцветна, пуста, исчислима;
она сводится к датам и именам,
к смерти на словах.

Чакарита,
сточная канава нашей родины, Буэнос-Айреса,
последний склон,
ты переживешь и переумираешь другие районы,
ты – лазарет этой смерти, а не иной жизни,
я слышал твои заверения в дряхлости, но я тебе не верю,
потому что сама эта тоскливая мысль – проявление
жизни,
а одна цветущая роза значит больше всех твоих
мраморных плит.

II

РЕКОЛЕТА

Здесь смерть исполнена достоинства,
здесь смерть горожан скромна,
кровными узами сплетены благостный свет,
озаряющий колоннаду Сокорро,
с пеплом аккуратных жаровен,
со сладостью сгущенки в день рождения,
с древними династиями соседей.
И с ней прекрасно уживаются
традиционные сласти и традиционная суровость.
Твой лик – это пышные ворота
и слепая щедрость раскидистого дерева,
и щебетанье птиц, возвещающих о смерти, не ведая, что
это такое,
и барабанная дробь, пробуждающая священный трепет в
груди,
на похоронах военных;
твоя спина – молчаливые конвентильо Севера
и стена казней Росаса.

Нация мертвых под мрамором ширится, разлагаясь,
они лишены избирательных прав,

расчеловечены в сумраке,
с тех пор как Мария де лос Долорес Масиель,
уругвайское семечко, растущее из сада твоего прямо в
небо,
уснула – совсем малютка – в этой земле.

Но я хочу остановиться на мысли
о светлых цветах, твоей благочестивой эпитафии —
желтый ковер под акациями,
цветы в твоих склепах, выращенные в память о
мертвых, —
и о причинах их милой и сонной жизни
при страшных останках тех, кого мы любили.

Я загадал загадку, но я скажу и ответ:
цветы – извечные спутники смерти,
поскольку люди всегда непостижимым образом знали,
что соседство сонных и милых цветов —
это лучшее, что может случиться с мертвыми,
ибо цветы не оскорбляют их гордостью жизни
и живы не более, чем они.

Франсиско Лопесу Мерино

Если ты по собственной воле покрыл себя смертью,
если ты решил отказаться от всех рассветов мира,
напрасно обращать к тебе отвергнутые слова,
обреченные на поражение.

Мы можем только сказать:
позор цветам, не знавшим, как тебя спасти,
бесчестье дню, что позволил тебе застрелиться.

Что может противопоставить наш голос
тому, что уже подтвердили кончина, слезы и мрамор?
Но есть такая нежность, которую не умалит никакая
смерть:
сокровенные, смутные новости, что несет в себе музыка,
родина, сводящаяся к смоковнице и колодцу,
и притяжение любви, несущее нам оправдание.

Я думаю о них, а равно и о том, мой сокрытый друг,
что ты сам сотворил себе образ смерти:
и знал ты, что девочку повстречаешь,
о которой писал еще в детстве школярским почерком,
и захотел раствориться в этом образе, как во сне.

И если это правда и, когда время нас покидает,
мы познаем осадок вечности, вкус мира,

тогда и смерть твоя легка,
как те стихи, в которых ты нас вечно ждешь,
и сумрак твой тогда не осквернят
голоса зовущих друзей.

Северный квартал

Это раскрыть секрета
из тех, что хранят по никчемности и невниманью;
ни при чем здесь тайны и клятвы,
это держат под спудом как раз потому, что не редкость:
такое встречается всюду, где есть вечера и люди,
и бережется забвеньем – нашим жалким подобьем тайны.

Этот квартал в старину был нашим лучшим другом,
предметом безумств и попреков, как всё, что любим;
и если тот пыл еще жив,
то лишь в разрозненных мелочах, которым
осталось недолго:
в старой милонге, поминающей Пять Углов,
во дворике – неистребимой розе между отвесных стенок,
в вечно обшарпанной вывеске «Северного Цветка»,
в завсегдатаях погребка за картами и гитарой,
в закоснелой памяти слепого.

Эти осколки и есть наш убогий секрет.

Словно что-то незримое стерлось:
бестелесная музыка любви.

Мы с кварталом теперь чужие.
На пузатых балкончиках больше не встретимся с небом.

Боязлива обманутая нежность,
и звезда над Пятью Углами уже другая.
Но беззвучно и вечно —
всем, что отнято и недоступно, как всё и всегда на свете:
жилковатым навесом эвкалипта,
бритвенной плоской, вобравшей рассвет и закат, —
крепнет порука участия и дружелюбья,
тайная верность, чье имя сейчас разглашаю:
квартал.

Пасео-де-Хулио

Клянусь, что я не нарочно вернулся на улицу
с высоким навесом, словно повторенным в зеркалах,
где полно решеток, на которых жарится мясо из
Корралеса,
где полно проституток, прикрытых одной лишь музыкой.

Изувеченный порт без моря, запертый соленый ветер,
похмелье, прибивающее к земле: Пасео-де-Хулио,
хотя мои воспоминания, давние до нежности, и
хранят твой образ,
я никогда не чувствовал тебя родиной.

О тебе я располагаю только
головокружительным незнанием,
собственность эта зыбка, как у птиц в небе,
но стих мой – это вопрошание и опыт,
и я буду верен увиденному.

Прозрачная ясность кошмара у подножья других
районов,
твои кривые зеркала обличают безобразные стороны лиц,
твоя ночь, накаленная в борделях, нависает над городом.

Ты погибель, создающая мир
из отражений и уродств нашего мира;

ты страдаешь от хаоса, болеешь нереальностью,
и заставляешь ставить на кон жизнь, играя
краплеными картами,
твой алкоголь порождает драки,
твои гадалки читают судьбу по завистливым
магическим книгам.

Быть может, оттого, что в аду пусто,
фауна твоих монстров – напроць фальшива,
а сирена на этом плакате – мертва и сделана из воска?

В тебе есть ужасающая невинность
покорности, рассвета, знания,
неочищенного духа, стертого
бегом дней,
который вылинял от яркого света, утратил себя
и жаждет лишь текущего и современного, как и
любой старик.

Быть может, за стенами моего пригорода
громоздкие телеги,
воздев оси горе, молятся невозможным богам железа и
пыли,
но каким богам, каким идолам поклоняешься ты, Пасео-
де-Хулио?

Твоя жизнь торгуется со смертью,
и всякое счастье – уже потому, что оно есть, – тебе
противно.

Создатель (1960)

Леопольдо Лугонесу

Гул площади остается позади, я вхожу в библиотеку. Кожей чувствую тяжесть книг, безмятежный мир порядка, высушенное, чудом сохраненное время. Слева и справа, в магическом круге снов наяву, на секунду обрисовываются лица читателей под кропотливыми лампами, как сказал бы латинизирующий Мильтон. Вспоминаю, что уже вспоминал здесь однажды эту фигуру, а кроме того – другое ловящее их абрис выражение из «Календаря», «верблюд безводный», и, наконец, гекзаметр «Энеиды», взнуздавший и подчинивший себе тот же троп:

*Ibant obscuri sola sub nocte per umbram*⁷.

Размышления обрываются у дверей его кабинета. Вхожу, мы обмениваемся условными теплыми фразами, и вот я даю ему эту книгу. Насколько знаю, он следил за мной не без приязни и порадовался бы, зайдя я порадовать его чем-то

⁷ Шли незримо они одинокою ночью сквозь тени (*лат.*).

сделанным. Этого не случилось, но сейчас он перелистывает томик и одобрительно пробует на слух ту или иную строку, то ли узнав в ней собственный голос, то ли различив за ущербным исполнением здравую мысль.

Тут мой сон исчезает, как вода в воде. За стенами – улица Мехико, а не прежняя Родригес Пенья, и Лугонес давным-давно, еще в начале тридцать восьмого, покончил счеты с жизнью. Все это выдумали моя самонадеянность и тоска. Верно (думаю я), но завтра наступит мой черед, наши времена сольются, даты затеряются среди символов, и потому я не слишком грешу против истины, представляя, будто преподнес ему эту книгу, а он ее принял.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 9 августа 1960 г.

О дарах

Укором и слезой не опорочу
Тот высший смысл и тот сарказм глубокий,
С каким неподражаемые боги
Доверили мне книги вместе с ночью,

Отдав библиотеку во владенье
Глазам, что в силах выхватить порою
Из всех книгохранилищ сновиденья
Лишь бред строки, уступленной зарею

Труду и пылу. Не для них дневные
Сиянья, развернувшие в избытке
Страницы, недоступные, как свитки,
Что испепелены в Александрии.

К плодам и водам (вспоминают греки)
Тянулся понапрасну царь в Аиде.
Зачем тревожу, выхода не видя,
Всю высь и глубь слепой библиотеки?

Твердыня словарей, энциклопедий,
Метафор, космографий, космогоний,
Былых династий и чужих наследий
Вздывается, но я в ней посторонний.

В пустынной тьме дорогу проверяя,
Крадется с палкой призрак поседелый —
Я, представлявший райские пределы
Библиотекой без конца и края.

«Случайность» – не годящееся слово
Для воли, наделившей здесь кого-то
Потемками и книгами без счета
Таким же тусклым вечером былого.

И, медленно минуя коридоры,
Порою чувствую в священном страхе,
Что я – другой, скончавшийся, который
Таким же шагом брел в таком же мраке.

Кто пишет это буквами моими
От многих «я» и от единой тени?
И так ли важно, чье он носит имя,
Когда всеобщее бремя отчуждения?

Груссак ли, Борхес ли, в благоговенье
Слежу за этой зыблящейся мглой —
За миром, полускраденным золою,
Похожею на сон и на забвенье.

Песочные часы

Неудивительно, что резкой тенью,
В погожий день пролегшей от колонны,
Или водой реки, чей бег бессонный
Эфесца донимал как наважденье,

Мы мерим время: сходны с ним и роком
Дневная тень, что реет легче дыма,
И незаметный, но неумолимый
Маршрут, прокладываемый потоком.

Но сколько ими время вы ни мерьте,
Есть у пустынь материя другая,
Что, с твердостью воздушность сочетая,
Подходит мерить время в царстве смерти.

Отсюда – принадлежность аллегорий
С картинок, поминающих о каре:
Тот инструмент, что старый антикварий
Засунет в угол, где лежат в разоре

Побитый коник, выпавшие звенья
Цепи, тупая сабля, помутнелый
За годы телескоп, кальян и целый
Мир случая, и тлена, и забвенья.

Кто не замрет при виде той мензурки
Зловещей, что с косою сжата вместе
Десницею Господнего возмездья
И с Дюреровой нам грозит гравюры?

Из конуса, который запрокинут,
Песок сквозь горло бережно сочится,
Пока, струясь, крупица за крупицей
Волною золотою не застынут.

Люблю смотреть, как струйкою сухой
Скользит песок, чтобы, почти в полете,
Воронкою помчат в круговороте
С поспешностью, уже совсем людскою.

Песчинки убегают в бесконечность,
Одни и те же, сколько б ни стекали:
Так за твоей отрадой и печалью
Покоится нетронутая вечность.

Я, по сравненью с этими часами,
Эфемерида. Без конца и края
Бежит песок, на миг не замирая,
Но вместе с ним мы убываем сами.

Все мировое время в струйке этой
Я вижу: череду веков за гранью,
Что в зеркалах таит воспоминанье,
И тех, что смысла колдовская Лета.

Огонь и дым, рассветы и закаты,
Рим, Карфаген, могила на могиле,
И Симон Маг, и те семь футов пыли,
Что сакс норвежцу обещал когда-то, —

Все промелькнет и струйкой неустанной
Бесчисленных песчинок поглотится,
И – времени случайная частица —
Как время, зыбкий, я за ними кану.

Шахматы

I

В глухом углу до самого рассвета
Сидят два игрока, забыв про сон.
И каждый лишь доской заморожен,
Где борются неистово два цвета.

Неистовость таинственная эта
Есть формы порожденье: резок слон,
Ладья огромна, ферзь вооружен,
А пешка грозным воином одета.

Но коли игроки и встанут с мест
И время их пожрет, точнее – съест,
Ничто прервать не сможет ритуала.

Однажды вспылал Восток войной,
И ныне поле битвы – шар земной.
И нет конца игре, лишь есть начало.

II

Коварна пешка, слаб король, жесток
Всевластный ферзь – и все готовы к бою,
Что ищут и ведут между собою
На черно-белом полотне дорог.

Не ведают они, что лишь игрок
Владеет безраздельно их судьбою
И подчиняет властною рукою
Их волю и отмеренный им срок.

А равно сам игрок зажат в тиски
(Как говорил Омар) другой доски:
Где ночь черна, а день блистает светом.

Игрок играет, Бог играет им.
Но кто стоит над Господом самим
И над его божественным сюжетом?

Зеркала

Я, всех зеркал бежавший от рожденья:
И ясной амальгамы, за которой —
Начала и концы того простора,
Где обитают только отраженья;

И призрачной воды, настолько схожей
С глубокой синевою небосклона,
То птицей на лету пересеченной,
То зарывшей от внезапной дрожи;

И лака, чья поверхность неживая
Туманится то мрамором, то розой,
Которые истаивают грезой,
По молчаливой глади проплывая, —

За столько лет словами и делами
Немало утрудивший мир подлунный,
Готов спросить, какой игрой фортуны
Внушен мне ужас перед зеркалами?

Металл ли беглым отсветом змеится
Или каоба в сумраке багряном
Стирает притаившимся туманом
Обличье сновиденья и сновидца, —

Они повсюду, ставшие судьбою
Орудия старинного заклатья —
Плодить подобья, словно акт зачатья,
Всегда на страже и везде с тобою.

Приумножая мир и продлевая,
Манят головоломной паутиной;
Бывает, вечерами их глубины
Туманит вздохом тень, еще живая.

Они – повсюду. Их зрачок бессменный
И в спальню пробирается, мешая
Быть одному. Здесь кто-то есть – чужая
Тень со своею затаенной сценой.

Вмещает все зеркальный мир глубокий,
Но ничего не помнят те глубины,
Где мы читаем – странные равнины! —
Наоборот написанные строки.

Король на вечер, лицемерный Клавдий,
Не думал, что и сам лишь сновиденье,
Пока не увидел себя на сцене,
Где мим без слов сказал ему о правде.

Зеркал и снов у нас в распоряженье
Не счесть, и каждый день в своей банальной
Канве таит иной и нереальный
Мир, что сплетают наши отраженья.

Бог с тайным умыслом (я понял это)
Свои неуловимые строенья
Воздвиг для нас из тьмы и сновиденья,
Недостижимого стекла и света.

Бог создал сны дарящую во мраке
Ночь и зеркал немые отраженья,
Давая нам понять, что мы – лишь тени.
Лишь прах и тлен. Отсюда – наши страхи.

Эльвира де Альвеар

Она владела всем, но постепенно
все потеряла. Мы ее узрели
в доспехах красоты. Сперва заря
и ясный полдень со своей вершины
открыли ей прекраснейшие царства
земные. Вечер эти краски стер.
Благоволение светил (сплетенье
бессчетных и незыблемых причин)
дало ей денег, властных над пространством,
как сказочный ковер, привычку путать
желанье с обладаньем, дар стиха,
что обращает подлинные муки
в далекий ропот, музыку и символ;
ей страсть была дана, кипенье крови,
пролитой под Итусайнго, и тяжесть
венков лавровых, радость потеряться
в реке времен (река и лабиринт)
и в угасанье красок предвечерних.
Она всего лишилась. Лишь одно
осталось с ней: высокая учтивость
ее вела до завершения дня,
уже за гранью бреда и заката,
почти по-ангельски. Лицо Эльвиры
мне навсегда запомнится улыбкой,
так было в первый и в последний раз.

Сусана Сока

Любила наблюдать, раздумчива, тиха,
Вечерние расплывчатые тени,
Следить мелодии хитросплетенье,
Жить каверзной гармонией стиха.
Не из карминовых основ банальных
Ее судьба изящно сплетена:
Мерцают серые полутона
В регистре различений минимальных.
В лукавый лабиринт ступить не смея,
Извне бросала любопытный взгляд
На толпы, что снуют среди оград,
В неисчислимых зеркалах тускнея.
Но боги, не вступающие в игры,
Ее предали огненному тигру.

Луна

Не помню, где читал я, что в туманном
Прошедшем, когда столько совершалось,
Присочинялось и воображалось,
Задался некто необъятным планом —

Все мироздание вместить до точки
В единый том и, тяжело и много
Трудясь над книгой, подошел к итогу
И шлифовал слова последней строчки.

Но только по случайности, из теми
Вдруг выхватив глазами закругленный
Рожок луны, он понял, посрамленный,
Что позабыл луну в своей поэме.

Пусть выдуман рассказ, но из бывшего
Он нам доносит что-то вроде притчи
О том, как безнадежен наш обычай
Свою судьбу разменивать на слово.

Суть ускользает. Этой потайною
Ущербностью отмечена любая
История, увы, не исключая
И всех моих перипетий с луною.

Где в первый раз я видел диск чеканный?
Не помню. Может, в прежнем воплощенье
Из греческого старого ученья?
Во дворике у смоквы и фонтана?

Есть в жизни среди многого, что было,
Часы других отрадней и роднее, —
Таков был вечер, когда вместе с *нею*
Смотрели мы на общее светило.

Но ярче виденного въяве света
Огонь стихов: не знавшая пощады
Та dragon moon из колдовской баллады
И месяц, кровеневший у Кеведо.

Луна была кровавою и алой
И в Иоанновом повествованье —
Той книге ужаса и ликования,
Но все же чаще серебром сияла.

Оставил Пифагор своей рукою
Посланье кровью на зеркальной глади,
А прочитали (по преданью), глядя
В луну, как будто в зеркало другое.

Все злее и громадней год от года
Волк, скрывшийся за чащею стальною,
Чтоб наконец расправиться с луною
В заветный час последнего восхода.

(Об этой тайне помнит Север вещий,
И в тот же страшный день светил померкших
Опустошит моря нечеловечий
Корабль, что сложен из ногтей умерших.)

В Женеве или Цюрихе, к поэтам
Причисленный судьбой, без промедленья
Я принялся искать определенья
Луны, себя измучив тем обетом.

Трудясь без отдыха, как все вначале,
Я истощал реестрик небогатый,
Боясь, что у Лугонеса когда-то
Янтарь или песок уже мелькали.

Из кости, снега (и другого сора)
Сменялись луны, освещая строки,
Которые, конечно же, в итоге
Так и не удостоились набора.

Мне чудилось: поэт между живыми —
Адам, что с несравненною свободой
Дарит вещам земного обихода
Единственное подлинное имя.

От Ариоста я узнал чуть позже,
Что на Луне есть все, чему возврата
Нет, — канувшее время, сны, утраты

И обретенья (что одно и то же).

Я различал трехликую Диану —
Итог Аполлодорова урока;
Гюго дарил мне серп златочеканный,
Один ирландец – черный символ рока.

Пока же, наклонясь над этой бездной,
Вылавливал я луны мифологий,
Я мог увидеть, вставши на пороге,
Ежевечерний диск луны небесной.

Теперь я знаю: есть одно земное
И ей лишь подобающее имя.
Разгадка в том, чтоб, не томясь другими,
Смирненно называть ее *луною*.

И не перебирая под рукою
Метафоры, одна другой неверней,
Гляжусь в таинственный, ежевечерний
Диск, не запятнанный моей строкою.

Вещь, слово ли, луна – один из знаков
В запутанном Писании вселенной,
Куда включен любой земной и бренный
Удел, неповторим и одинаков.

Она – всего лишь символ меж иными,
Судьбой ли, волей данный человеку,

Который только по скончаньи века
Напишет свое подлинное имя.

Дождь

Яснеют очертания двора,
Где дождь проходит, морося над садом.
Или прошел?.. В сырые вечера
Минувшее родней всего, что рядом.

С ненастьем возвращается пора,
Когда замороженным нашим взглядам
То, что зовется «розой», мнилось кладом
И явь была, как праздники, пестра.

Вот за окном, которое все мгlistей,
Дождинками обласканные кисти
Чернеют у далекого крыльца

На сгинувшей окраине. И снова
Я слышу голос моего живого,
Вернувшегося моего отца.

К портрету капитана из войск Кромвеля

Не овладеть твердыней крепостною
Внимающему горней литургии.
Другие зори (и века другие)
Пронзает взгляд, воспитанный войною.
Тверда рука, застыв на рукоятке.
В зеленых долах – кровь и рокот боя.
Британия во мгле перед тобою,
Сиянье славы, конь и век твой краткий.
Мой капитан, труды бесследней дыма.
Назначен срок и рвению, и латам,
И всем нам, исчезающим с закатом.
Все кончено и впредь необратимо.
Сталь твоего врага давно истлела.
Ты тоже пленник своего удела.

Старинному поэту

Пустынными кастильскими полями
Проходишь ты и, погружен в туманный
И неотступный стих из Иоанна,
Почти не видишь, как тускнеет пламя

Закатное. Бредовый свет мутится,
И от Востока дымно и кроваво
Грядет луна, как скорая расправа
Его неукоснительной десницы.

Ты смотришь на нее. Из давних былей
Вдруг что-то поднимается и снова
В ничто уходит. И, седоголовый,

Ты вновь сникаешь и бредешь разбито,
Так и не вспомнив стих свой позабытый:
«И кровь луны – словами на могиле».

Другой тигр

And the craft that createth a semblance.
Morris, «Sigurd the Volsung»⁸ (1876)

Мне снится тигр. Ложится полумрак
На кропотливую библиотеку
И раздвигает полки и столы:
Безгрешный, мощный, юный и кровавый,
Вот он, бредущий лесом и зарей,
След оставляя на зыбучей кромке
Реки, чьего названья не слышал
(Он ни имен не знает, ни былого,
Ни будущего – только этот миг).
Он одолеет дикие просторы
И различит в пьянящем лабиринте
Пахучих трав дыхание зари
И несравненный запах оленины.
Я вижу сквозь бамбуковый узор —
Узор на шкуре и костяк под этим
Сокровищем, ходящим ходуном.
Но понапрасну линзы океанов
Сменяются пустынями земли:
С далекой улицы большого порта
Америки я исподволь слежу

⁸ И мастерство, творящее подобья. — *Моррис. Сигурд Вёльсунг (англ.).*

За полосатым тигром гангских плавней.

Во сне смеркается, и понимаю,
Что хищник, вызванный моей строкой, —
Сплетенье символов и наваждений,
Простой набор литературных тропов
И энциклопедических картинок,
А не зловещий, неизбежный перл,
Что под луной и солнцем исполняет
В Бенгалии и на Суматре свой
Обряд любви, дремоты и кончины.
И против тигра символов встает
Живой, гудящий колокольной кровью
И расправляющийся с бычьим стадом
Сегодня, в этот августовский день,
Пересекая луговину мерным
Видением, но только упомянешь
Или представишь этот обиход,
Как снова тигр – создание искусства,
А не идущий луговинной зверь.

Еще попытка. Думаю, и третий
Останется всего лишь порождением
Сознания, конструкцией из слов,
А головокружительного тигра,
Вне мифов рыщущего по земле,
Мне не достигнуть. Может быть. Но что-то
Толкает снова к странному занятию
Без смысла и начала, и опять

По вечерам ищу другого тигра,
Недостигаемого для стиха.

Blind Pew⁹

Вдали от моря и сражений – рая,
Каким всегда рисуется утрата,
Бродила тень ослепшего пирата,
Английские проселки вымеряя.

Облаян злыми хуторскими псами,
Обстрелян метким воинством ребячьим,
Он спал растрескавшимся и горячим
Сном в пропыленной придорожной яме.

И знал, что там, где берег блещет златом,
Судьба его ждет с сокровенным кладом —
Отрадой в беспросветной круговерти.

Так и тебя в краю, что блещет златом,
Судьба ждет с тем же неразменным кладом
Безмерной и неотвратимой смерти.

⁹ Слепой Пью (*англ.*).

Напоминание о тени тысяча восемьсот девяностых годов

Прах. Лишь клинок Мураньи. Лишь размытый
Закат над выцветшею стариною.
Не мог я видеть этого бандита,
Чья тень с закатом вновь передо мною.
Палермо, невысокий той порою,
Венчался канареечным порталом
Тюрьмы. И по отчаянным кварталам
Бродил клинок, пугающий игрою.
Клинок. Лица уже за дымкой серой
Как нет. И от наемника отваги,
Который ей служил такою верой,
Остались тень и беглый блеск навахи.
Пятная мрамор, это начертанье
Не троньте, времена: «Хуан Муранья».

Напоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса (1833–1874)

Он видится мне конным той заветной
Порой, когда искал своей кончины:
Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,
Пребудет этот – горький и победный.
Плывут, отсвечивая белизною,
Скакун и пончо. Залегла в засаде
Погибель. Двигается с тоской во взгляде
Франсиско Борхес пустошью ночною.
Вокруг – винтовочное грохотанье,
Перед глазами – пампа без предела, —
Все, что сошлось и стало жизнью целой:
Он на своем привычном поле брани.
Тень высится в эпическом покое,
Уже не досягаема строкою.

In memoriam A. R.¹⁰

Законы ль строгие, слепое ль приключение —
Чем бы ни правился вселенский этот сон —
Схлестнулись так, что я попал в полон
Альфонсо Рейеса упругого ученья.

Неведомо такое никому
Искусство – ни Улиссу, ни Синдбаду —
И видеть в смене городов отраду,
И верным оставаться одному.

А если память свой жестокий дрот
Вонзит – из неподатливых пластин
Поэт нам сплавит ряд александрин
Или элегию печальную скует.

В трудах, как и любому человеку,
Ему надежда помогала жить:
Строкой, которую не позабыть,
Вернуть кастильский к Золотому веку.

Оставив Сидову мускулатуру
И толпы, крадучись несущие свой крест,
Преследовал до самых злчных мест

¹⁰ Памяти А. Р. (лат.)

Неуловимую литературу.

Пяти извилистых садов Марино
Изведал прелесть, но, ошеломлен
Бессмертной сутью, преклонился он
Перед труда божественной рутиной.

И да, в сады иные путь держал,
Где сам Порфирий размышлял упорно,
И там, меж бреда, перед бездной черной,
Восставил древо Целей и Начал.

Да, Провиденье, вечная загадка,
От скупости своей и от щедрот
Кому дугу, кому сегмент дает,
Тебе же – всю окружность без остатка.

То радость, то печаль ища отважно
За переплетами несчетных книг,
Как Бог Эриугены, ты постиг
Науку сразу стать никем и каждым.

Чеканность роз, сияющий простор —
Твой стиль, его неторною дорогой,
Ликуя, вырвалась к сраженьям Бога
Кровь предков, их воинственный задор.

Среди каких он нынче испытаний?
Глядит ли ужаснувшийся Эдип

На Сфинкс, на непонятный Архетип,
Недвижный Архетип Лица иль Длани?

Или, поддавшись инобытию
Вслед Сведенборгу, видит пред собой
Мир, ярче и сложнее, чем мир земной,
Небес высокую галиматью?

Или, как в тех империях из лака,
Эбеновых, восставит память въяве
Свой личный Рай, и будет жить во славе
Другая Мексика, и в ней – Куэрнавака.

Лишь Богу ведомо, какой судьба сулит
Нам свет предвечный за пределом дня.
А я – на улицах. И от меня
Секрет посмертья все еще сокрыт.

Одно лишь знаю: вопреки препонам,
Куда б его ни вынесла волна,
Альфонсо Рейес посвятит сполна
Себя иным загадкам и законам.

Покуда слышится рукоплесканье,
Покуда клич победный не затих,
Не оскверню своей слезою стих,
Любовно вписанный в воспоминанье.

Борхесы

О португальских Борхесах едва ли
Что вспомню – о растаявших во мраке
Родах, что мне тайком бывшие страхи,
Пристрастья и привычки передали.
Почти не существующие звенья,
Уже недостижимые для слова,
Они – неразличимая основа
И смены дней, и праха, и забвенья.
Пусть будет так. Исполнились их сроки:
Они – прославленный народ, который
Песков и волн одолевал просторы,
На Западе сражаясь и Востоке.
Они – король, затерянный в пустыне
И уверяющий, что жив поныне.

Луису де Камоэнсу

Года без сожаления и мести
Сломили сталь героев. Жалкий нищий,
Пришел ты на родное пепелище,
Чтобы проститься с ним и жизнью вместе,
О капитан мой. В колдовской пустыне
Цвет Португалии poleg, спаленный,
И вот испанец, в битвах посрамленный,
Крушит ее приморские твердыни.
О, знать бы, что у той кромешной влаги,
Где завершаются людские сроки,
Ты понял: все, кто пали на Востоке
И Западе земли, клинки и флаги
Пребудут вечно (в неизменном виде)
В твоей вновь сотворенной «Энеиде».

Девятьсот двадцатые

Круговращенье созвездий не бесконечно,
и тигр – лишь один из призраков наважденья,
но, не встречая нигде ни случая, ни удачи,
мы считали, что сосланы в это бездарное время,
время, когда ничего не могло родиться.
Мир, трагический мир был далеко отсюда,
и нам предстояло найти его в прошлом:
я сплетал убогие мифы о двориках и кинжалах,
а Рикардо мечтал о своих табунах и загонах.
Кто мог подумать, что завтра вспыхнет зарницей?
Кто предвидел позор, огонь и нещадную ночь Альянса?
Кто бы сказал, что история хлынет на перекрестки —
наша история, страсть и бесчестье,
толпы, как море, гулкое слово «Кордова»,
смесь реальности и сновиденья, ужаса и величья!

Ода, написанная в 1960 году

Закон ли тайный или явный случай,
Свершая мой сновиденный удел,
Велят, незаменимая отчизна,
Наполнившая срамом и величием
Сто пятьдесят невыносимых лет,
Чтоб, капля, я воззвал к тебе, стремнине,
Чтоб, миг, заговорил с тобою, время,
И в задушевный разговор влились
Обряд и мрак, возлюбленный богами,
И храмовая чистота стиха?

Я, родина, искал тебя в руинах
Окраинных бездонных вечеров,
В репье, ветрами пампы занесенном
На лестницу, в невозмутимых ливнях,
В неторопливом обиходе звезд,
В руке, пощипывающей гитару,
В могучем притяжении степей,
Которые владеют нашей кровью,
Как море – саксами, в благочестивых
Крестах и чашах родовых могил,
В еще девичьей нежности жасмина,
В серебряной монетке, в шелковистом
Прикосновении немой каобы,
Во вкусе мяса, в сладости плода,

В двухцветном флаге над щипцом казармы,
В заношенных легендах о ноже
И винной стойке, в тысячах закатов,
Ушедших и осиротивших взгляд.
В поблекших за лета воспоминаньях
О двориках, где слуги носят имя
Своих хозяев, в нищенских страницах
Книг для слепых, развеянных огнем,
В неумолкающем паденье ливней
Того эпического сентября,
Какого не забыть, но это ворох
Едва ль не чуждых знаков и имен.

Ты больше верст своих безмерных далей
И дней твоих неизмеримых лет.
Ты больше, чем невысказанное море
Твоих родов. Нам не узнать, какой
Ты видишься Творцу в животворящем
Сиянии предвечных образцов,
Но мы, неистребимая отчизна,
Живем и умираем, вызывая
Твой сокровенный и слепящий лик.

Ариост и арабы

Кому по силам книга? Для начала
Хорошей книги требуются зори,
А к ним – века, сражения и море,
Чтоб сталкивало всех и разлучало.

Так думал Ариост и с наслажденьем,
Пустив коня по вековым просторам
Гробниц и сосен, возвращался взором
К стократно перевиданным виденьям.

Италия была на то мгновенье
Край призраков, которые, подъявля
Клинок, за веком век трудивший землю,
Переплетали с памятью забвенья.

Бредя по Аквитании, попали
Полки в засаду под крутой горою, —
Отсюда сновиденье о герое,
Мече и звуке рога в Ронсевале.

Божков и стяги сакс, от века хмурый,
Восставил над английскою страной,
Придя тупой и грозною войною, —
Отсюда сон про короля Артура.

Под блеклым солнцем северного края
Родился сон, в котором спит подруга,
Не покидая огненного круга
И суженого верно ожидая.

Не знаю, на Парнасе иль Востоке
Родился сон, в котором конь крылатый
По небу скачет в сторону заката,
А на коне летит колдун жестокий.

И Ариост как будто с колдовского
Коня смотрел на царствие земное,
Измеренное вечною войною
И юной страстью, рушащей оковы.

И мир для зачарованного взора
Цвел дивным садом в золотом тумане,
Сливаясь за невидимую гранью
С садами Анжелики и Медора.

Мелькали, словно призрачные клады,
Что в Индостане навевает опий,
Любовные утехы и разлады
В его поэме, как в калейдоскопе.

И в колкости, и в страсти несравнимый,
Он сам стыдился собственного пыла,
Придумав замок, все в котором было
(Как в жизни) притягательно и мнимо.

Как всем поэтам, рок или фортуна
Не пожалели редкостного дара
Ему, скакавшему своей Феррарой
И вместе с тем далекой кромкой лунной.

Из невесомой ржави сновиденья
И слякоти сновиденного Нила
Его воображение сотворило
Великолепное хитросплетенье —

Меандр, алмаз, где ты на повороте
Опять оказываешься в начале,
Чтоб с музыкой, не знающей печали,
Плутать, забыв об имени и плоти.

Европа чуть не сгинула бесследно,
В тот лабиринт заведена азартом:
Сам Мильтон мог рыдать над Брандимартом
И сокрушаться о Далинде бедной.

Бог с ней, Европою! Дары иные
Гигантский сон без края и без срока
Оставил обитателям Востока,
Где спят пески и бродят львы ночные.

О шахе, что опять казнит бесстрастно
Царицу после сладостного мига,
Нам и сейчас рассказывает книга,

Чье колдовство столетьям неподвластно.

Крыла из мрака, птичьи лапы с целым
Слоном, чертящим небо на закате;
Магнит-гора, чье пылкое объятье
Таит в себе погибель каравеллам;

Земля, стоящая на холке бычьей,
А бык – на рыбе; тайные реченья,
Скрывающие силу превращения
Скалы – в пещеру с золотой добычей, —

Народам снились, что, сродни потопу,
Прошли по стольким городам и странам,
И сон, который виделся тюббанам,
Верней клинков завоевал Европу,

И Ариост, над чьей любой страницей
Неспешными и праздными часами
Позабывались, грезя чудесами,
Стал сном, который никому не снится.

Застывший у черты исчезновенья,
С Востоком рядом – попросту словесность,
Он сон, который снится сну. (Известность —
Одна из разновидностей забвенья.)

Вечерний луч, тусклея на излете,
Касается покинутого тома,

И беглый свет скользит по золотому
Тиснению на ненужном переплете.

Безгласный том плывет по запустенью
Библиотеки через тьму ночную,
Столетье за столетием минуя
И мой удел, мелькнувший как виденье.

К началу занятий англосаксонским языком

Спустя пятьдесят поколений
(пропастей, отведенных временем человеку)
на берегу далекой большой реки,
неизвестной драконам викингов,
я воскрешаю шершавые, неподатливые слова,
которые (некогда ртом, а сегодня – прахом)
складывал во времена Мерсии или Нортумбрии,
прежде чем стать Хейзлемом или Борхесом.
В субботу мы прочитали, что Юлий Цезарь
первым из ромбуржцев прибыл подмять Британию;
значит, и гроздья еще не созреют, как я услышу
того соловья из загадки
и плач двенадцати воинов над погребенным вождем.
Версиями позднейших английских или немецких
слов, знаками знаков мне кажутся эти слова,
а ведь в каждом из них был образ,
и человек призывал их во славу меча и моря;
завтра они возвратятся к жизни
и *fug* будет означать не *fire*¹¹, а удел
прирученного и многоликого бога,
чей вид повергает нас в первобытный трепет.

¹¹ Огонь (др. – *англ.*, *англ.*).

Благословен лабиринт
бесконечных причин и следствий,
что на пути к тому зеркалу,
где никого не увижу или увижу другого,
мне даровал созерцать
зарю языка.

Лк. 23

Еврей, язычник, просто человек,
Лицо сокрыто в пелене времен,
И буквы имени его навек
Рассыпались среди других имен,

О милосердии, о сострадании
Знал то, что тать из Иудеи мог,
Висящий на кресте. Что было ране,
Нам не извлечь. Исполнив свой урок

Последний – он распятым умирал,
И посреди насмешек и глумленья
Услышал: тот, что близ него страдал,
Был Бог, и вот, в порыве исступленья

Ему взмолился – помяни меня
Ты в Царствии Твоем, и грозный глас
Того вершащего все судьбы Дня
Бандиту посулил сей день, сей час,

Мол, внидет в Рай. Не изрекли ни слова
До смерти, но история для нас
Об этой казни сберегла рассказ
И о Страстях Спасителя живого.

Но как, друзья, наивна и проста
Христова друга вера, невзначай
Попавшего по первой просьбе в Рай
От низости позорного креста!

И не такая ль вера вовлекла
Его во все кровавые дела?

Адрогe

Кого теперь встревожит, как когда-то,
Что потеряюсь, забредя в глухие
Куртины, где для праздного заката
И неискоренимой ностальгии

Возводят кров незримый дрозд на ветке,
Колдующий над песнею старинной,
Круговорот струи, мираж беседки,
Виденья статуй и фантом руины?

На черном черный (знаю) в запустенье
Пустой каретник проступает, сдвинув
Границы мира пыли и жасминов,
Что помнит об Эррере и Верлене.

От эвкалиптов по ночным террасам
Плывет целебный аромат былого —
Тот аромат, что вне уловов слова
И времени зовем домашним часом.

Ищу и нахожу свой долгожданный
Порог. Все тот же дом под черепицей
Рисуется, и так же из-под крана
Вода на плитки двора сочится.

А в зоркой тьме строения пустого
Спят за дверьми сновиденные тени —
Хозяева нетронутых владений
Утраченного и пережитого.

Я знаю в этих призрачных пределах
Любую мелочь: блески на граненом
И выгоревшем камне, повторенном
В зеркальных анфиладах помутнелых,

И стиснутое в медной пасти львиной
Кольцо, и разноцветные кристаллы
Веранды той, что в детстве открывала
Два мира мне – зеленый и карминный.

Ни бедам, ни смертям не подначальны,
Хранят свое бывшее эти тени,
Но все они, как всё вокруг, реальны
Лишь в памяти – в четвертом измеренье.

Там, только там от времени заклеты
Сады и дворики. Пережитое
Их обвело магической чертою,
В одно связав рассветы и закаты.

Кто б смог нарушить хоть в одной детали
Строй этой жалкой и бесценной прозы,
Уже недосягаемой, как розы,
Которые в Эдеме расцветали?

И память об оставшемся за гранью
Домашнем крове я несу как бремя,
Не понимая, что такое время,
Хоть сам я – время, кровь и умиранье.

Искусство поэзии

Глядеться в реки – времена и воды —
И вспоминать, что времена как реки,
Знать, что и мы пройдем, как эти реки,
И наши лица минут, словно воды.

И видеть в бодрствованье – сновиденье,
Когда нам снится, что не спим, а в смерти —
Подобье нашей еженощной смерти,
Которая зовется «сновиденье».

Считать, что каждый день и год – лишь символ,
Скрывающий другие дни и годы,
И обращать мучительные годы
В строй музыки – звучание и символ.

Провидеть в смерти сон, в тонах заката
Печаль и золото – удел искусства,
Бессмертный и ничтожный. Суть искусства —
Извечный круг рассвета и заката.

По вечерам порою чьи-то лица
Мы смутно различаем в зазеркалье.
Поэзия и есть то зазеркалье,
В котором проступают наши лица.

Улисс, увидев после всех диковин,
Как зеленеет скромная Итака,
Расплакался. Поэзия – Итака
Зеленой вечности, а не диковин.

Она похожа на поток бескрайний,
Что мчит, недвижим, – зеркало того же
Эфесца ненадежного, того же
И нового, словно поток бескрайний.

Музей

Четверостишие

Умерли многие, но это случилось в прошлом —
в состоянии (как известно), наиболее свойственном
смерти.

Возможно ли, чтобы я, подданный Якуба аль-Мансура,
умер, как умерли розы и Аристотель?

*Из «Дивана» Альмутасима аль-Магриби
(XII век)*

Пределы

Есть строка из Верлена, которой мне так и не вспомнить,
есть соседняя улочка, запретная для моих шагов,
зеркало, видевшее меня в последний раз,
есть дверь, закрытая мной до скончания времен.
Среди книг в моей библиотеке (вот я их вижу)
есть книга, которую я не раскрою.
Этим летом мне сравняется пятьдесят.
Смерть истончает меня неумолимо.

Из «Надписей» (Монтевидео, 1923)

Хулио Платеро Аэдо

Поэт говорит о своей известности

Слава моя измерена сводом небес,
библиотеки Востока сражаются за мои стихи,
эмиры стремятся наполнить златом мой рот,
ангелы уже знают наизусть мой последний заджаль.
Мои рабочие инструменты – унижение и тоска;
лучше бы мне родиться мертвым.

Из «Дивана» Абулькасима аль-Хадрами

(XII век)

Великодушный враг

В 1102 году Магнус Босоногий приступил к покорению королевств Ирландии; говорят, что накануне своей смерти он получил приветствие от Муйрхертаха, короля Дублина:

Пусть в твоём войске сражаются золото и буря, Магнус Босоногий.

Пусть завтра на полях моего королевства будет удачен твой бой.

Пусть твои королевские руки сплетут ужасную паутину
меча.

Пусть станут пищей красного лебедя те, кто войдет под
твой меч.

Пусть все твои боги насытят тебя славой, пусть насытят
кровью.

Пусть на заре ты будешь победителем, король, топчущий
Ирландию.

Потому что этот день станет последним. Клянусь тебе,
король Магнус.

И прежде, чем сотрется его свет, ты будешь побежден и
стерт, Магнус Босоногий.

Из «Anhang zur Heimskringla»¹² (1893)

Г. Геринга

Le regret d'Héraclite¹³

Я, столь многими бывший людьми, никогда не был тем,
в чьих объятьях Матильда Урбах познала блаженство.

Гаспар Камерариус,

из «Deliciae Poetarum Borussiae»¹⁴ (VII, 16)

¹² «Добавление к Кругу земному» (нем., исл.).

¹³ Сожаление Гераклита (фр.).

¹⁴ «Услады поэтов Пруссии» (лат.).

Послесловие

Дай бог, чтобы изначальная монотонность этой смеси, которую составило время, а не я, и в которую попали ранее написанные вещи (я не отважился исправлять то, что было сочинено мною при ином понимании литературы), бросалась в глаза меньше, нежели историческое и географическое разнообразие. Из всех книг, отданных мною в печать, ни одна, кажется, не является столь личной, как эта разнородная и беспорядочная «книга о разных предметах» – в первую очередь из-за обилия отражений и перекличек. Со мной мало чего случилось, а прочитал я о многом. Или, лучше сказать, со мной случилось мало чего более достойного памяти, чем философия Шопенгауэра или словесная музыка англичан.

Некто задается целью нарисовать мир. В течение многих лет этот человек населяет пространство образами провинций, царств, хребтов, бухт, кораблей, островов, рыб, комнат, инструментов, светил, лошадей и людей. Незадолго перед смертью он открывает, что этот неспешный лабиринт отображает черты его лица.

Х. Л. Б.

Буэнос-Айрес, 31 октября 1960 года

Иной и прежний (1964)

Предисловие

Из множества стихотворных книг, начертанных моим отчаяньем, моей небрежностью и моей страстью, мне ближе всех «Иной и прежний». В этот сборник входят: «Еще раз о дарах», «Воображаемые стихи», «Роза и Мильтон» и «Хунин», за которые, если моя пристрастность не лжет, мне не стыдно. Здесь же собраны мои привычные темы: Буэнос-Айрес, культ предков, германистика, противоречие между переходящим временем и постоянством личности, изумление от того, что такую субстанцию, как время, можно с кем-то разделить.

Эта книга не что иное, как компиляция. Стихи писались в разных moods¹⁵ и моментах, не для того, чтобы составить единый том. Отсюда предсказуемая монотонность, повторы слов, а порой и целых строк. Однажды в литературном кружке на улице Виктория один писатель – назовем его так, – Альберто Идальго, изобличил мою привычку писать одну и ту же страницу по два раза, с минимальными вариациями. Тогда я

¹⁵ Настроениях (англ.).

ответил (сожалею об этом), что Идальго не менее вторичен, вот только в его случае и первая версия всегда принадлежит не ему. Таковы были достойные сожаления нравы той эпохи, на которую многие теперь оборачиваются с ностальгией. Все мы стремились прославиться удачной фразой. А ведь замечание Идальго справедливо: «Александр Селкирк» не сильно отличается от «„Одиссеи“,» песнь двадцать третья»; «Кинжал» предвосхищает милонгу, которую я назвал «Нож в Эль-Норте», и, возможно, рассказ «Встреча». Странность, которую я не могу постичь, состоит в том, что мои вторые версии, точно приглушенное невольное эхо, как правило, получаются слабее, чем первые. В городе Лаббок, на краю пустыни, высокая девушка спросила меня: когда я сочинял своего «Голема», не пытался ли я создать вариацию на тему «В кругу развалин», и я ответил, что мне пришлось преодолеть целый континент, чтобы обрести это откровение, к тому же правдивое. При всей общности у двух композиций есть и различия: в первой дан сновидец внутри сновидения; в той, что я переписал позднее, показаны отношения божества с человеком и, возможно, поэта с его созданием.

Человеческие языки – это традиции, роковая предопределенность. Эксперименты отдельных людей, как правило, ничтожны, если только новатор не обрекает себя на создание музейного экспоната, игры, предназначение которой – дискуссии историков литературы или скандал как таковой; примерами могут служить «Поминки по Финнегану» и «Одино-

чества». Порою мной овладевало искушение переложить на испанский музыку английского или немецкого языка; если бы я совершил этот – возможно, невыполнимый – подвиг, я был бы великим поэтом, наподобие Гарсиласо, подарившего нам музыку Италии, или того анонимного севильца, который принес нам музыку Рима, или наподобие Рубена Дарио, открывшего для нас Францию. Я не продвинулся дальше черновика с переплетением односложных слов, да и тот я благоразумно уничтожил.

Причудлива судьба литератора. Поначалу он барочен, тщеславно-барочен, но с течением лет и при удачном расположении светил он может достичь... не простоты, ведь простота ничтожна, но скромной и тайной сложности.

Помимо школ, моим образованием занималась библиотека – библиотека моего отца; несмотря на все превратности времени и географии, я считаю, что не напрасно прочел те заветные томики. В «Воображаемых стихах» легко заметить влияние драматических монологов Роберта Браунинга и, как мне хочется верить, Уитмена. Пересмотрев эти страницы, я почувствовал, что находился куда ближе к модернизму, нежели к пришедшим на смену сектам, которые были порождены его распадом и которые теперь это отрицают.

Патер писал, что всякое искусство стремится достичь уровня музыки – быть может, оттого, что суть музыки в форме и мы не можем пересказать мелодию, хотя возможно пересказать основные линии повести. Если согласиться

с таким приговором, поэзия оказывается гибридным искусством: подчинением абстрактной системы символов – языка – музыкальным задачам. Эту порочную идею распространяют словари. Мы, как правило, забываем об искусственности этих перечней, появившихся много позже, чем те языки, которые они упорядочивают. Исток языка иррационален и обладает магической природой. Датчанин, произносивший имя Тора, или сакс, произносивший имя Тунора, не знал, обозначают ли эти слова бога грома или грохот, который приходит после молнии. Поэзия хочет вернуться к этой древней магии. У нее нет предустановленных законов, она работает дерзко, наудачу, как будто бредет в темноте. Поэзия – это магические шахматы, где доска и фигуры меняются местами словно во сне; над этой доской я склонюсь после смерти.

Х. Л. Б.

Бессонница

Из железа —

гнутыми толстыми тросами из железа должна
обвиться ночь,

тогда ее не разорвут

все те вещи, что видели мои перегруженные глаза,
все невыносимо живущие в ней тяжкие вещи.

Мое тело истомилось от горизонталей, температур, от
света:

в держащих долгий путь вагонах,
на банкетах, где все ненавидят друг друга,
на щербатых обочинах пригородов,
на жаркой вилле с влажными статуями,
в плотной ночи, где царят люди и кони.

Вселенная этой ночи обладает простором забвения
и точностью лихорадки.

Напрасно я хочу отвлечься от плоти

и от бессонного наплывающего зеркала,
что расточает ее, караулит,

от дома, по которому бродишь все теми же комнатами,
от мира, приводящего к разбитой окраине, где в
переулках

свищет утомленный ветер над комковатой глиной.

Напрасно я жду
распадений и символов – предвестников сна.
Все длится мировая история:
аккуратные канавки смерти в полости зуба,
кружение собственной крови и планет.

(Мне стала ненавистна вода излишеств
и отвратительно пение птиц на склоне дня.)

Изношенные, бесконечные мили южной окраины,
мили степей, грязных и непотребных, мили отвращения
не хотят покидать мою память.

Затопленные земли, ранчо, сбившиеся в свору,
словно псы, лужи смрадного серебра:
я – отвратительный страж этой недвижимости.
Проволоки, дамбы, мертвые бумаги, отбросы Буэнос-
Айреса.

Сегодня ночью я верю в ужасное бессмертие:
во времени не умер ни один мужчина, ни женщина, и ни
один мертвец,
потому что неизбежная реальность из глины и железа
должна пробить насквозь безразличие уснувших или
усопших —
пусть даже они скрываются в распаде и в веках, —
и обречь их на страшное бдение.

Тяжелые винные облака раскаляют небо;

светает в моих плотно сжатых веках.

Адрогé, 1936

Two english poems¹⁶

Беатрис Бибилони Вебстер де Буллрич

I

Бессмысленный рассвет встречает меня на опустевшем перекрестке; я пережил ночь.

Ночи – это гордые волны; темно-синие тяжелые волны, набрякшие всеми оттенками глубинных сокровищ, набрякшие невероятными и желанными вещами.

Ночи склонны к загадочным подношениям и отказам, к подаркам, которые легко отобрать назад, к темным полушариям радости. Ночи – они такие, поверь.

От всплеска той ночи мне, как обычно, остались лоскутья и бессвязные обрывки: заклятые друзья для пустой болтовни, музыка для снов, горький сигаретный пепел. Голодному сердцу все это без толку.

Большая волна принесла тебя.

Слова, просто слова, твой смех; твою ленивую и нескончаемую красоту. Мы говорили, и ты позабыла слова.

Сокрушительный рассвет встречает меня на опустевшей

¹⁶ Два английских стихотворения (англ.). Написано автором на английском языке. – *Примеч. ред.*

улице моего города.

Твой отвернувшийся профиль, звуки, из которых составляется твое имя, мелодия твоего смеха – вот какие блестящие игрушки остались мне после тебя.

Я перебираю их на заре, я их теряю и нахожу; я рассказываю их редким бродячим собакам и редким бродячим звездам рассвета.

Твоя богатая темная жизнь...

Я должен пробиться к тебе, хоть как-нибудь: я отбросил блестящие игрушки, оставшиеся после тебя; мне нужен твой тайный взгляд, твоя подлинная улыбка – та одинокая насмешливая улыбка, с которой знакомо лишь холодное зеркало.

II

Чем я могу тебя удержать?

Я предлагаю тебе нищие улицы, отчаявшиеся закаты, луну оборванных окраин.

Я предлагаю тебе горечь мужчины, который так долго смотрел на одинокую луну.

Я предлагаю тебе моих предков – призраков, которых живые увековечили в бронзе: отца моего отца – деда, убитого на аргентинской границе двумя пулями в легкие, бородатого и мертвого, обернутого его солдатами в коровью шкуру; деда моей матери, который (всего в двадцать четыре) в Пе-

ру командовал отрядом из трехсот человек, — и теперь они призраки на бесплотных лошадях.

Я предлагаю тебе все возможные озарения моих книг, все мужество и всю нелепость моей жизни.

Я предлагаю тебе верность человека, который никогда не был верным.

Я предлагаю тебе свое средоточие, которое мне все же удалось спасти, — глубинное сердце, которое не живет словами, не торгует мечтаньями и неподвластно времени, радости и невзгодам.

Я предлагаю тебе воспоминание о желтой розе, увиденной на закате за годы до твоего рождения.

Я предлагаю тебе разгадки тебя, теории о тебе, истинные и потрясающие откровения о тебе.

Я могу дать тебе свое одиночество, свою тьму, свое голодное сердце; я пытаюсь тебя подкупить — неуверенностью, опасностью, поражением.

1934

В кругу ночи

Сильвине Бульрич

Об этом знали только питомцы Пифагора:
Судьба ведет по кругу и смертных, и светила;
Из атомов бессменных восстанет все, что было:
Златая Афродита, фиванцы и агб́ра.

Ударит вновь копыто могучего кентавра,
Чтоб в будущем, как прежде, упал лапиф, и снова
Рим канет, и раздастся в ночи многовеко́вой
Из мерзкого зловонья стенанье Минотавра.

Придет черед все той же бессоннице угрюмой.
Рука, что это пишет, родится вновь из лона
Того же. Полвселенной опустошат знамена.
(Подобные сужденья легко прочесть у Юма.)

Вернемся ль мы обратно все в той же давней роли,
Послушны, словно числа в периоде, – не знаю.
Но кру́гом Пифагора меня стезя ночная
Ведет на тот же угол, в знакомое до боли

Предмесье, в дом далекий, куда ступаю робко.
И путь ли мне на север, на юг или к востоку, —
Там голубые стены, плита у водостока,

Смоковница густая и путаная тропка.

Там мой Буэнос-Айрес. Несущее мужчинам
Любовь и деньги время мне дарит лишь виденья:
Угаснувшую розу, никчемное сплетенье
Проулков, вдруг звучащих мне именем старинным,

Моим – Солер, Суарес, Лаприда и Кабрера.
И в отзвуках, плывущих почти потусторонне, —
Рассветы и побудки, республики и кони,
Счастливые победы и смерти с той же верой.

И площади зияют в полночном запустенье,
Как дворики в чертоге забытого владыки,
А улицы с их далью прямы и однолики,
Как коридоры смутных тревог и сновидений.

И снова ночь нисходит, любовь Анаксагора,
Чтоб вечность в смертном теле, как некогда, звучала
Бессменной строкою – конца или начала? —
«Об этом знали только питомцы Пифагора».

1940

Об аде и рае

Божественному Аду нет нужды
в блистанье пламени. Когда над миром
затрубят трубы Страшного суда,
когда разверзнутся земные недра
и племена, восставшие из праха,
облепят неминуемую Пасть,
не будет им ни девяти кругов
горы вершиной книзу; ни бесцветных
полей, где среди вечных асфodelей
бессмертный призрак лучника спешит
за недоступным призраком косули;
ни огненной волчицы на последнем
уступе в преисподней мусульман,
который ниже Адама и пыток;
ни молчаливой ярости металлов,
ни Мильтоновой зримой темноты.
Ни жгучим углем, ни трезубой сталью
не станет беспощадный лабиринт
теснить испуганные души грешных.

И не скрывается на дне времен
заветный сад. Для радости достойных
не требуются Господу круги
из света, концентрические схемы
Престолов, Херувимов и Властей,

ни прозрачные зеркала хоралов,
ни беспредельные глубины розы,
ни гиблый блеск хотя бы одного
из всех несчетных тигров, ни прозрачность
бескровного заката над пустыней,
ни древний, первородный вкус воды.
Всемилоствому ни сад не ведом,
ни свет воспоминаний и надежд.

Как бы в стекле, во сне передо мною
возник обетованный Ад и Рай:
когда последние отрубят трубы,
когда тысячелетний мир скрепят
печатами, когда сотрутся Время,
эфмериды этих пирамид,
черты и краски прошлого во мраке
кристаллизуются, представ лицом
недвижным, спящим, неизменным, вечным
(лицом любимой, может быть – твоим),
и видеть этот близкий, неизбежный,
вневременной и запредельный лик
и будет Адом для того, кто проклят,
и Раем для того, кто отличён.

1942

Воображаемые стихи

Доктор Франсиско де Лаприда, убитый 22 сентября 1829 года повстанцами Альдао, думает перед смертью:

Визжит свинец решающего часа.
Ночь душит ветром, ветер душит пеплом.
День на исходе, бой на переломе,
на этот раз победа не за нами
и гаучо одерживают верх.
Я, искушенный правовед, Франсиско
Нарсисо де Лаприда, возвестивший
свободу этим варварским краям,
врагом разбитый, брошенный своими,
размазывая пот и кровь на лбу
и позабыв о страхе и надежде,
бегу на Юг окраиной глухой.

Как потерпевший поражение воин
в «Чистилище», что кровью изошел
и рухнул, ослеплен и скошен смертью,
в последней тьме у безымянных вод, —
я упаду. Теперь уже недолго.
Потемки, обступающие топь,
следят за мной и ждут. Слышны подковы
свирепой смерти, выславшей вдогонку

ухмылки, дробтики и верховых.
Я, думавший прожить совсем иначе,
среди параграфов, статей и книг,
скончаюсь в жиге под открытым небом.
И все-таки я втайне торжествую,
как никогда: я наконец обрел
свою судьбу на этом континенте.
Сюда, где тлеет гибельный закат,
я шел головоломным лабиринтом,
который ткался день за днем со дня
рождения. И вот передо мною
пережитого сокровенный ключ,
удел Франсиско де Лаприды, буква,
которой не хватало, образец,
назначенный мне Богом изначально.
И с этим ликом, новым и заветным,
навек сливаюсь, глядя в небо. Круг
замкнулся. Я спокоен. Будь что будет.
Вот зачернели дробтики напавших
на свежий след. Сжимаются в кольцо
ухмылки смерти, крупы, верховые,
разметанные гривы... Вот он, первый
удар железа, распоровший грудь,
наваха, увязающая в горле.

О четвертой стихии

Бог, стиснутый потомком коварного Атрея
На нелюдимом взморье, полуднем прокаленном,
Пантерой обращался, львом, деревом, драконом
И, наконец, водою. Вода сродни Протею.

Она – в высокой сини бегущий клок белесый,
Над сплюснутым предместьем закат в пол-окоема,
Ледовые воронки смертельного Мальштрема
И о тебе, ушедшей, беспомощные слезы.

В ней черпали начало в мифические лета
Огонь-всеразрушитель с Землею-роженицей
И боги дня и ночи, кануна и границы.
(Так думали Сенека и Фалес из Милета.)

И валуны и волны, крушащие железный
Корабль, – всего лишь крохи из множества анафор;
А время, что разит нас, дабы уйти безвестно, —
Один пример из тысяч твоих, вода, метафор.

Под гиблыми ветрами и штормовою тучей
Ты – лабиринт, в чьих глубях без выхода и входа
Улисс в тоске по дому плутает год от года,
Минуя злую гибель и ненадежный случай.

Ты блещешь беспощадной арабскою чеканкой,
Как сон, скрывая чудищ под кротостью своею.
Тебя столетья славят, сокровищ не жалея,
И бег твой носит имя Евфрата или Ганга.

(Ганг очищает грешных водой своей святою,
Поскольку же течение смешало океаны,
А суша влагоносна, то, право, нет обмана
В том, что любой живущий омыт его водою.)

Де Куинси как-то видел, сойдя в свой мир бредовый,
Тебя мостили лица несчетных поколений;
Державам и народам несла ты утоление,
В тебе омыт отец мой, как прежде – плоть Христова.

Молю, вода: пусть эти рассеянные звенья
Ненужных слов послужат мне тайною порукой,
Что Борхеса однажды припомнишь ты как друга
И освежишь мне губы в последнее мгновенье.

Малому поэту из греческой антологии

Где след этих дней,
которые принадлежали тебе, сплетались
из бед и удач и были твоей вселенной?

Все они смыты
мерной рекой времен, и теперь ты – строка в указателе.

Другим даровали боги бессмертную славу,
эпитафии, бюсты, медали и скрупулезных биографов,
а о тебе, неприметный друг, известно одно:
что соловья ты заслушался на закате.

Во тьме среди асфodelей твоя обделенная тень,
наверное, укоряет богов за скупость.

Но дни – это паутина банальнейших пустяков,
и разве не лучше остаться самой золой,
из которой слагается забвенье?

На других направили боги
луч беспощадной славы,
проникающий в недра, не упуская ни щели,
славы, которая сушит розу своей любовью, —
с тобой, собрат, они обошлись милосердней.

В самозабвенье заката, который не сменится ночью,
поет и поет тебе соловей Феокрита.

Страница памяти полковника Суареса, победителя при Хунине

Что такое нужда, изгнание,
унижения старости, ширящаяся тень
диктатора над страной, особняк за Верхней заставой,
проданный братьями в годы войны, бесцельные день за
днем
(сначала их хочешь забыть, а потом и впрямь
забываешь) —
перед той твоей высшей минутой, верхом в седле,
в открытой взгляду степи, как на сцене перед веками,
как будто амфитеатр хребтов тебя обступил веками!

Что такое бегущее время, если в нем
был единственный вечер полноты и самозабвения!

Он сражался в своей Америке тринадцать лет, под конец
оказавшись в Восточной Республике, в поле у Рио-Негро.
Закатной порой он, скорее всего, вспоминал,
что и для него однажды раскрылась роза:
алый бой под Хунином, тот бесконечный миг,
когда пики сошлись, приказ, открывший сражение,
первый разгром и среди грохотанья битвы
(оглушившей его, совсем как его парней) —
собственный крик, поднимающий перуанцев,

блеск и натиск и неумолимость атаки,
взвихренный лабиринт полков,
схватка пик без единого выстрела,
испанец, раскрытый пополам,
победа, счастье, усталость, отяжелевшие веки
и брошенные умирать в болоте,
и Боливар с какими-то историческими словами,
и солнце, уже на закате, и первородный вкус воды и вина,
и труп без лица, дочиста стертого схваткой...

Его внук ставит в строчку эти слова и слышит
тихий голос из древних глубин своей крови:
– Что такое бой под Хунином – лишь славное
воспоминанье,
дата, которую учат к зачету или выводят на карте?
Бой бесконечен и обойдется без помпы
живописных полков и военных труб:
Хунин – это двое в кафе, проклиняющих тиранию,
и неизвестный, гибнущий в каземате.

1953

Мф. 25: 30

Мост над платформой Дня Конституции. Под ногами
лязг поездов, ткущих стальной лабиринт.
Гарь и гудки осадили ночь,
вдруг представшую Страшным судом. За незримым
краем земли,
прямо во мне зазвучал вездесущий голос,
произнося все это (все это, а не слова —
мой жалкий, растянутый перевод единого слова):
— Звезды, хлеб, книги Запада и Востока,
карты, шахматы, галереи, подвалы и мезонины,
тело, чтобы пройти по земле,
ногти, растущие ночью и после смерти,
тьма для забвенья и зеркала для подобий,
музыка, этот вернейший из образов времени,
границы Бразилии и Уругвая, кони и зори,
гирька из бронзы и экземпляр «Саги о Греттире»,
пламя и алгебра, бой под Хунином, с рожденья
вошедший в кровь,
дни многолюдней романов Бальзака и аромат каприфоли,
любовь — и ее канун, и пытка воспоминаний,
подземные клады сна, расточительный случай
и память, в которую не заглянуть без головокруженья, —
все это было дано тебе и, наконец,
измена, крах и глумление —
извечный удел героев.

Напрасно мы даровали тебе океан
и солнце, которое видел ошеломленный Уитмен:
ты извел эти годы, а годы тебя извели,
и до сих пор не готовы главные строки.

1953

Компас

Эстер Семборайн де Торрес

Мир – лишь наречье, на котором Он
Или Оно со времени Адама
Ведет сумбурный перечень, куда мы
Зачем-то включены. В него внесен

Рим, Карфаген, и ты, и я, и сон
Моих непостижимых будней, драма
Быть случаем, загадкой, криптограммой
И карю, постигшей Вавилон.

Но за словами – то, что внесловесно.
Я понял тягу к этой тьме безвестной
По синей стрелке, что устремлена

К последней, неизведанной границе
Часами из кошмара или птицей,
Держащей путь, не выходя из сна.

Ключ в салониках

Абарбанель, Фариас иль Пинедо,
изгнанники столетия назад, —
в чужом краю потомки их хранят
от дома старый ключ. Дом был в Толедо.

У них надежды нет, им страх неведом:
достанут ключ и смотрят на закат;
нездешние «вчера» в той бронзе спят,
усталый блеск и равнодушие к бедам.

Ключ от дверей, что ныне только прах,
стал тайным знаком на семи ветрах,
как ключ от храма, что не сдался Риму:

когда внутри уже пылал огонь,
его швырнули в воздух, чтоб незримо
тот ключ на небе приняла ладонь.

Поэт XIII века

Он смотрит на хаос черновика —
На этот первый образец сонета,
Чьи грешные катрены и терцеты
Сама собою вывела рука.

В который раз шлифуется строка.
Он медлит... Или ловит звук приветя, —
В нездешнем, вещем ужасе поэта
Вдруг слыша соловьев через века?

И чувствует сознанием приобщенным,
Что преданным забвенью Аполлоном
Ему открыт священный архетип:

Кристалл, чьей повторяющейся гранью
Не утолить вовеки созерцанье, —
Твой лабиринт, Дедал? Твой сфинкс, Эдип?

Солдат капитана Урбины

«Я недостойн подвига другого.
Тот день в Лепанто – верх моих деяний», —
грустил солдат, в плену мирских заданий
скитаясь по стране своей суровой.

Постылой повседневности оковы
желая сбросить, он бежал в мечтанья,
былых времен волшебные сказанья,
Артуром и Роландом очарован.

Садилось солнце на полях Ла-Манчи.
Он думал, провожая отблеск медный:
«Вот я пропащий, всем чужой и бедный...» —

не замечая песни зарожденья.
К нему через глубины сновиденья
уже спешили Дон Кихот и Санчо.

Пределы

Одним из утопающих в закате
Проулков – но которым? – в этот час,
Еще не зная о своей утрате,
Прошел я, может быть, в последний раз.

Назначенный мне волей всемогущей,
Что, снам и яви меру положив,
Сегодня ткет из них мой день грядущий,
Чтоб распустить однажды все, чем жив.

Но если срок исчислен, шаг наш ведом,
Путь предрешен, конец неотвратим,
То с кем на повороте в доме этом
Расстались мы, так и не встретясь с ним?

За сизыми оконцами светает,
Но среди книг, зубчатою стеной
Загромоздивших лампу, не хватает
И так и не отыщется одной.

И сколько их – с оградой понурой,
Вазоном и смоковницей в саду —
Тех двориков, похожих на гравюры,
В чей мир тянусь, но так и не войду!

И в зеркало одно уже не глянусь,
Одних дверей засов не подниму,
И сторожит четвероликий Янус
Дороги к перекрестку одному.

И тщетно к одному воспоминанью
Искать заговоренного пути;
Ни темной ночью, ни рассветной ранью
Один родник мне так и не найти.

И где персидское самозабвенье,
Та соловьино-розовая речь,
Чтобы хоть словом от исчезновенья
Смеркающийся ответ уберечь?

Несет вода неудержимой Роны
Мой новый день вчерашнего взамен,
Что снова канет, завтрашним сметенный,
Как пламенем и солью – Карфаген.

И, пробужден стоустым эхом гула,
Я слышу, как проходит стороной
Все, что манило, все, что обмануло:
И мир, и тот, кто назывался мной.

Бальтасар Грасиан

Инверсии, меандры и эмблемы,
Труд, филигранный и никчемный разом, —
Вот что его иезуитский разум
Ценил в стихах – подобье страгаемы.

Не музыка жила в нем, а гербарий
Потрепанных софизмов и сравнений,
И перед хитроумьем преклоненье,
И превосходство над Творцом и тварью.

Не тронутый ни лирою Гомера,
Ни серебром и месяцем Марона,
Не видел он Эдипа вне закона
И Господа, распятого за веру.

И пышные восточные созвездья,
Встречающие утренние зори,
Прозвал, ехидничая и позоря,
«Несушками небесного поместья».

Он жил, ни божеской любви не зная,
Ни жгущей губы каждого мужчины,
Когда за звучною строфой Марино
К нему подкралась исподволь Косая.

Дальнейшая судьба его туманна:
Могильному гниению оставляя
Земную персть, вошла под кущи Рая
Душа скончавшегося Грасиана.

Что он почувствовал, перед собою
Увидев Архетипы и Блистанья?
Не зарыдал ли над пустой судьбою,
Признав: «Напрасны были все метанья»?

Что пережил, когда разверзло веки
Нещадным светом Истины небесной?
Быть может, перед богоданной бездной
Он отшатнулся и ослеп навеки?

Нет, было так: над мелочною темой
Склонился Грасиан, не видя Рая
И в памяти никчемной повторяя
Инверсии, меандры и эмблемы.

Сакс (449 г.)

Уже зашел рогатый серпик лунный,
Когда опасливой стопой босой
Мужчина, грубый и рыжеволосый,
Свой след оттиснул на песчинках дюны.

Окинул взглядом от приморской кромки

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.